Л. М. КЛЕЙНБОРТ

РАБОЧИЙ КЛАСС и КУЛЬТУРА

ТОМ I

КАК СКЛАДЫВАЛАСЬ РАБОЧАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

(1905—16 гг.)

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ





Издательство ВЦСПС Москва
1925

Ленинградский Гублит № 11782. Тираж 5000 экз.

1-я Тип. Транспечати им. Воровского. Ленинград, Обводный кан., 66.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ко второму изданию.

Литература о рабочем творчестве, столь скудная в дореволюционные годы, ныне растет. Разговоры о рабочем творчестве захватывают широкие круги. И, за всем тем, у нас нет работы, которая объединила бы накопившийся в этом направлении материал, подвела ему те или иные итоги.

Полнее всего разработано поэтическое наследие пролетариата, значительно менее—проза. Еще слабее обследованы журналистика, творческие искания в области театра, живописи, музыки, художественной промышленности, проблемы быта, умственной и общественной жизни и т. д. Статьи и книги, относящиеся сюда, не могут похвастать еще ни количеством, ни качеством.

Автор, разумеется, далек от итогов. Он лишь регистратор художественных, умственных, общественных исканий пролетариата, вернее, его передовых кадров. Эту задачу и ставил себе автор, когда стали появляться его статьи на эти темы, не сходя со страниц „Образования“, „Современного Мира“, „Вестника Европы“, „Современника“, „Северных Записок“, „Новой Жизни“ и „Журнала для всех“ в течение пятнадцати лет. Он шел лишь по следам жизни.

Благодаря неустанному содействию, которое оказывала ему рабочая интеллигенция столиц и провинциальных центров, статьи выросли в книги, увидевшие свет в первом издании. Ныне работа моя впервые выходит в том виде, в каком ей надлежит появиться. Нося общее заглавие, она состоит из семи томов, расположенных в следующем порядке:

Том I. Как складывалась рабочая интеллигенция (1912—1916 гг.).

Том II. Искусство (театр, живопись, художественная промышленность, музыка).

Том III. Журналистика.

Том IV. Читатель-рабочий.

Том V. Беллетристы.

Том VI. Поэты.

Том VII. Публицисты, экономисты, деятели профессионального движения и пр.

Второе издание имеет следующее отличие от первого. Первоначально вышло лишь пять томов. Следовательно, шестой и седьмой том выходят в свет впервые. Вместе с тем, сделаны исправления и дополнения. В первый том введены три новые главы, в третий—две.

Приложены указатели литературы.

Л. К.

ВВЕДЕНИЕ.

Первый том моей работы обнимает годы, непосредственно предшествующие революции. Время это отделено событиями такой важности, что оно кажется уже отодвинутым от нас в даль давно прошедшего.

И вот, чтобы воскресить в памяти черты той эпохи, приведу здесь „несколько предварительных слов“, предпосланных мною „Очеркам“ при появлении их на страницах журналов того времени.

„После тусклых лет затишья опять волна живой жизни катится по фабрикам и заводам. После периода острого малокровия опять бодрящие голоса растут в предместьях. Экстренно совещаются промышленники. Заседают комиссии в министерствах. Даже рептильная печать полна сообщений официозного агентства о рабочем оживлении. „Речь“ же в „Ежегоднике“ писала: „1913 г. может принести столь сильный подъем рабочей энергии, что он живо напомнит 1905 год“ (стр. 164).

Конечно, интерес к рабочему вспыхнул, главным образом, благодаря стачкам, достигшим в 1912 г. высоты 1906 г. Это стачечник обсуждается в совете съездов, разъясняется в министерских органах. Это о нем даются столь же обильные, сколько и утешительные данные: „мол, забастовочная волна, как шквал... налетела и ушла“. Едва ли, однако, этой волне уступает

подъем внутренний. Едва ли, однако, менее примечательна та эволюция рабочего класса, с которой надо стоять лицом к лицу, чтобы увидеть ее во всей полноте, во всем многообразии. Дать картину этого процесса, втягивающего рабочего человека в круговорот событий, показать те внутренние тропинки, которыми он идет к новым горизонтам—вот задача автора этих „Очерков".

По всей справедливости можно сказать: чувствительнее всего черное пятилетие обрушилось на рабочего. Это была пора, окрещенная ликвидацией движения, когда рабочий пульс как бы замер, и лишь тонким слухом можно было уловить его биение. Если 1908 г. дает еще по сравнению с 1907 г. уменьшение политических стачек в 5,6 раз, а 1909 г. по сравнению с 1908 г. в 9,2 раза, то засим свод отчетов фабричных инспекторов отмечал уже „полное вырождение политических стачек". Если из 1.000 с лишним рабочих союзов в 1909 и 1910 гг. закрыто их меньше, чем в предыдущее двухлетие (96 и 88 против 159 и 101), и число отказов в регистрации падает с 169 до 97 за четыре года, то не в одном разрушении сверху дело. Рабочие и сами ликвидировали организации, отчаявшись пробить себе дорогу. То же—в области рабочей печати. Один за другим 101 профессиональный орган истек кровью: в Петрограде—39 изданий, в Москве—12, в Одессе—8 и т. д. И после того тупик: пустое место, кабак, разгром, фабричный абсолютизм, да на фоне этом—„бывший человек", рабочий, вот-вот еще говоривший речи на массовках, а сейчас—порождение того же духа черного.

Словом, внешнее успокоение полное. Но если внешний авторитет физической силы не подлежит сомнению, то не выдумано еще то средство, которое могло бы парализовать внутреннюю работу духа народного. Цвели апатия и покорность, равнодушие и страх, а в то же время где-то угольки под пеплом тлели. В могильной тишине стлался идейно-политический туман, а в то же время неясное становилось ясным рабочей голове. Внешние проявления мелки, все буднично, обыденно,—по сравнению с героическим подъемом только что отошедших дней. Но преемственность идейно-психологическая осталась, но внутренний процесс шел. И надо было пожить в рабочем квартале, чтобы убедиться, как именно мелкое, будничное, обыденное развивает мысль, воспитывает чувство, когда прошлое подготовлено.

И вот—как раз в момент безудержного „нажима", самого смелого размаха политической реакции—заживо-похороненный воскресает из мертвых. Мертвая точка перейдена, и реют воспоминания о бурных днях. Опять идет глубокий напряженный подъем в низах, и кто уже не видит, что это неудержимое течение реки, то, которое не признает плотин. Четвертое апреля, первое мая, угроза войны, выборы в четвертую думу—вот вехи, по которым идут сотни тысяч рабочих без подготовки, без руководящих центров—только потому, что бьет ключем рабочая энергия.

Для наблюдателя нашего времени, бесспорно, нет темы более благодарной. Но, как это ни странно, стачечное движение, конечно, не осталось в тени. Под'ем же внутренний—общественно-психологический, шедший медленно, но неуклонно через все пятилетие—не нашел в 1912—14 гг. своего бытописателя. Когда-то—до 1905 г.—Н. А. Рубакин по своему изображал идейный рост рабочей массы. Остались документы даже от полосы безвременья, не лишенные яркости. Сейчас же в 1912—14 гг. мятущийся дух пролетариата поистине ждет еще своего исследователя. Правда, в эти годы вновь ожила профессиональная рабочая пресса. В эти годы—на-ряду с профессиональными изданиями—выросли настоящие рабочие газеты. Рабочая их хроника, составляющая подлинный исторический вклад, уже сама по себе—материал, но лишь материал, который не разобран, не сведен воедино.

Это именно я и пытаюсь сделать в своих „Очерках", исходя из материала, присылаемого мне представителями ра-

бочей интеллигенции. Но прежде чем приступить, несколько предварительных слов. Перекидывается, очевидно, мост к 1905 г.: тот же захват в ширь, что мы видели в 1905 г., тот же рост в глубь, от которого веет дыханием силы. Однако, для подъема, переживаемого фабрикой в 1912—14 гг., характерно не только то, что в нем общего с годом манифеста 17 октября, но и то, что отличает его от той эпохи. Вот разницу эту, столь существенную, что, не уяснив ее, нельзя себе составить правильного критерия рабочих чаяний и стремлений, я и должен отметить прежде, чем обратиться к фактам.

Бесспорно, рабочий теперь „практичнее". Разно настроение рабочего в период кризиса и в период подъема. Оживление 1905 г. совпало с экономической депрессией. 1912 же году предшествовал промышленный подъем. Правда, в свое время Брандт и 1904 г. провозгласил концом краха, но в действительности этот год оказался началом новой депрессии. Не то в настоящий момент. Изобилие капиталов, два последовательных урожая, рост предприятий и занятых в них рабочих кадр—все это „отрезвляет". Это не 1905 г. с его движением безработных, с игнорированием мелочей, частностей, с сосредоточением на общих целях. Теперь уже нельзя извне руководить массой, бросать лозунги, давать директивы. Едва ли ошибусь, если скажу: рабочий теперь возвращается от отвлеченного к конкретному, пытается новые начала в каком ни на есть урезанном виде, но провести в жизнь.

Всегда так: когда борьба за частности оказывается безнадежной, преобладание получает принцип, независимо от ближайших уступок. Наоборот, промышленный подъем выдвигал борьбу за это самое ближайшее. То же и сейчас—с той, конечно, разницей, что русский рабочий в минувшие 7—8 лет „прошел курс социально-политических наук" и—переходя от общих понятий к практике быта—более остер, более прямолинеен, чем можно было бы ожидать в условиях промышленного подъема.

Вот—первое. Второе—изолированность рабочих масс: дифференцировались политически старые классы русского общества, разбились по боевым линиям. В 1905 г. земские либералы окружили рабочую демократию атмосферой благожелательности справа. Промышленники писали свои пресловутые записки о свободе союзов, о рабочей самодеятельности. Крестьянство—рядом с пролетариатом—клало свои гири на весы истории. Не то сейчас. Оживлены и сейчас разные слои буржуазии российской. Но они уже знают, кто им друг, кто им враг. Разве главари прогрессистов в области рабочей „самодеятельности" настроены так наивно, как промышленные либералы в 1905 г.?

Так-то и „хождение" интеллигенции в рабочий класс отошло в прошлое. Десятки лет насчитывает история рабочего движения в России, и ни одного не было пункта на этом пути, где бы интеллигенция не считала себя призванной руководительницей рабочего класса. И вот ушла с этого пути. И—что именно характерно—возврата к старому нет.

В процессе конкретного творчества рабочий шевелит собственной головой, чувствует себя на собственных ногах. „Идеолог, понявший смысл исторического движения", еще ему нужен, но лишь для второстепенных функций. Это уже не ходатай, не опекун, и отношения самые не те. И, если еще, так или иначе, история повторяется, и идеолог опять идет в рабочий лагерь, то идет не с лозунгом, а с лекцией, не для того, чтобы вести, а чтобы следовать.

Новые условия не упразднили старых целей, а создают лишь фундамент под них. От наследства рабочая масса не отказывается, но сравнительно с 1905 г. даже с внешней стороны перед нами отдельные опыты, частичные попытки, местные поиски. Никаких центров, связывавших волю рабочего класса в 1905 г. И приемы работы не те—масса ожила без листков, без типографий, без агитаторов, без пропагандистов. Нет возможности отличить, культурник ли перед вами или

революционер, легальное или нелегальное дело. Одно ясно: массовик плывет на социальную поверхность, массовик вырос в самостоятельную фигуру. Он еще стихиен, но, хаотичный по существу, хотя и дисциплинированный с виду, он в 1905 г. ждал лишь лозунга сверху, чтобы двинуть свою неумирающую силу. Теперь же он воспитывает себя, учится трудному делу и, учась, нагуливает здоровые мускулы и крепкие мышцы.

Своего рода школа подготовительная: не видите базисов, но видите элементы, из которых выростут крепкие базисы. Не видите дисциплины, но работа психологическая налицо. Вся толща рабочей массы,—скромные из скромных, тихие из тихих,—под напором новых дум и новых чувств. И родит их вот эта самая жизнь, в которой дозволенное с недозволенным смешалось в таких кричащих комбинациях,—родит, как траву весной. Куда ни глянешь, тает, тает, кажется еще лед, а какая-то радость уже бьется под толстым слоем. Весело жить рабочему человеку и подо льдом... Конечно, еще не события перед нами в собственном смысле слова, а факты... Куда ни глянешь, факты, факты, факты...

Таков уже поворотный момент. Внутренние враги рабочего класса, конечно, те же, что были в доброе старое время: вековое самоунижение, темнота, безгласность, разрозненность. И вот проснулось чувство человеческого достоинства—ежечасно, ежеминутно факты, факты, факты... Зашевелилась рабочая мысль,—по песчинке, по крупинке наростает со всех сторон. Заговорила рабочая печать—один орган три новых рождает. Ожили организации—опять факты, факты, та бесконечность, без которой не люди догоняют события, а события людей.

Оттого-то и язык наших „Очерков"—язык фактов. Более того, автор стремится—где это возможно—меньше говорить своими словами, больше—словами рабочих, ибо давно сказано: самый прямой, самый верный способ уразуметь жизнь в истинных ее чертах это—добиться того, чтобы сама же она рассказала о себе".

Я очень желал быть объективным в своих очерках. Знаю: до исследования моей работе далеко, как далеко самой рабочей культуре до учреждения, которое бы регистрировало правильно ее рост, ее развитие. Но прошу снисхождения у читателя: я пытаюсь лишь пробудить интерес к малозатронутым вопросам.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

УМСТВЕННЫЙ ПОДЪЕМ

I.

Рабочий с культурным опытом, с определенным кругом знаний у нас—факт давний. Наличность рабочей группы, перед которой встали проклятые вопросы, интеллигента-фабричного, благоговеющего перед печатным словом, думающего про себя свою думу, отмечалась наблюдателями предместья с тех давних пор, как капитализм стал делать первые свои шаги крупного масштаба. Но одно дело — рабочий-интеллигент, другое—массовик, только уловивший несколько принципов, только разбирающийся в их частностях.

Умственный интерес не мог не расти в рабочей среде и в девяностых годах, как не могла не расти вся фабрика с ее головоломными противоречиями. Но все же в 90 гг. имело место только то, что именовалось в то время „интеллигенцией“ из народа. Сама же масса не читала книжек, не следила по газетам за жизнью России, не слушала лекций — словом, не тяготела к умственности. И лишь 1905 г. положил начало промежуточному слою рабочих, который связал идейные верхи пролетариата с самыми его низами и свел на нет здесь роль интеллигенции буржуазной.

Масса, поднятая к высотам общего сознания, хотя и спустилась в „низину“, но думала, училась по своему во все годы лихолетия, наступившего после 1906 г. Это уже было „падение“ с высот, но то, что схвачено в период событий, перевертывающих вверх дном основы существования, не умирает. Всевозможного рода осложнения стояли перед глазами,

всевозможного рода неожиданности бременили мысль. И едва ли я ошибусь, если скажу: в 1912—16 гг., уже перед нами—наряду с рабочей интеллигенцией в узком смысле слова—именно промежуточный слой, который на всех путях и перепутьях рабочей жизни конкретизует идею рабочего класса. Отличительная черта идейного подъема демократии в этом: разночинца уже нет, он уже на службе у капитала, а „ломает голову“ над труднейшими вопросами доподлинная масса. И чем противоречивее была обстановка бытовая, экономическая, правовая, в которой после 1906 г. рабочему пришлось ворочать „своим умом“, тем неистощимее запас умственных сил его, разнообразнее проявления.

Разница между условиями, в которых проходило идейное оживление до и после 1906 г., ясна. Тогда оно шло по линии затяжной экономической депрессии, потом—перед войной—по линии экономического подъема. Достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться, что новые мысли, новые культурные потребности более всего дают себя знать в центрах промышленного подъема, наименее—в предприятиях мелких, отставших, там, где втянут в промышленность человеческий поток из деревни, темный, бессознательный.

Вы точно поднимаетесь по ступеням, начиная с медвежьих углов, где рабочие „ничего не читают“, где „нет, во всем округе нет библиотеки-читальни,—как сообщает рабочий рудников южно-русского общества (Горловка),—даже вездесущая „Копейка“ и „Тары-Бары“ не проникают“. Видите ли, „рабочие здесь большей частью временные,—до полевых работ“. Впрочем, такую слепоту и в медвежьих углах встречаете не часто. Исследование фабричного инспектора Московской губ. Козьминых-Лапина показало, насколько грамотность рабочих возросла за последние годы по мере перехода от старших возрастных групп к младшим. Как общее правило, наиболее грамотны подростки, поступающие на фабрику в возрасте от 12 до 15 лет. Не только мужчины приближаются

ко всеобщей грамотности, но даже среди женщин—благодаря замещению мужского труда женским — грамотность делает огромные успехи. То же подтверждала, как общее правило, перепись населения Петербурга. И редеет тот серый некультурный слой, который „ничего не читает“ в буквальном смысле слова. В этом смысле самые жалобы рабочих отсталых предприятий характерны. Кажется, жалуются они решительно: „ничего не читаем“, „не хотим о себе подумать“, „кругом оживление, а у нас хоть бы глазом кто моргнул,—и не знаем даже об этом“. А все-таки, оказывается, и здесь—в медвежьих углах—уже ищут печатного слова.

„Читаем ли мы что-нибудь когда?—иронизирует рабочий,—никогда. „Копейка“—вот наша газета, да „Тары-Бары“. И как живут и борются за лучшее будущее, мы не знаем“. „Читаем газету „Копейка“, журнал „Тары-Бары“,—констатирует другой. „По утрам приходишь в мастерскую и видишь, что рабочие заняты чтением в газете „Копейка“ романов Раскатова, Громадова: „Утес сатаны“, „Злые чары“ и „Роковая пуговица“. Из-за этих господ, читающих „Злые Чары“, приходится делать вторые выборы“. Читают „Копейку“ из-за „Антона Кречета“, но все-таки читают. Только зажившиеся старожилы „знают все из уст других“ и „не убивают время“ даже на „Копейку“. Попадает кое-что даже и помимо „Копейки“. Напр., в мастерской Сев.-Зап. жел. дор. читают из газет, кроме „Копейки“ и „Тары-Бары“, „Современное Слово“, „хотя ничего, кроме пьянства, в голову не приходит“. На заводе Ятеса, в Екатеринбурге, где „рабочие ничего не читают, есть два-три человека, читающих „Металлиста“, хотя и норовят воспользоваться даровым номером, не понимая того, что поддержка рабочих для рабочей литературы необходима“. Но читают случайно. Зато „Копейка“—„петербургская“, „московская“, „южная“—везде и всюду. Медвежьи углы отсталых предприятий—это царство „Копейки“, где рабочая газета встречается с недоверием. „Ничего, дескать,

нового в рабочих газетах нет,—говорят напр., на Нижнетагильском заводе,—нам это все известно". На Донецко-Юрьевском заводе, Екатеринославской губ. рабочие одного из цехов „наотрез отказались принять газеты, заявив, что таких газет они не желают читать". На кабельном заводе в Киеве работницы даже говорят: „лучше было работать раньше, когда не было этих газет". Другое дело—бульварная пресса.

Но хотя „Копейка" „отравляет душу пролетария",—по выражению рабочего мебельно-паркетной фабрики Кона,—„и кто хочет не отравлять себя духовно, должен читать выходящие в Спб. рабочие газеты и журналы", поистине характерно, что сама по себе газета уже отнюдь не достояние избранных рабочих кругов, что рабочих приходится уже различать не по тому, читают ли они газету или нет, а по тому, какую газету читают. Кто не читает „Копейки"? Извозчик, дворник, полотер, проститутка.... Издательство „Копейки", в несколько лет из действительно копеечной затеи выросшее в крупнейшее капиталистическое дело европейского типа, удовлетворяет потребность низших категорий труда; только в этом тайна его успеха среди рабочих, еще не участвующих в просветительных обществах, еще не утоляющих духовный голод через лекции, экскурсии, лишь инстинктивно тянущихся к печатному слову.

Конечно, нет в России уже и такого мелкого, такого отсталого предприятия, где бы не раздался и иной голос. Вы слышите его и среди парикмахеров, приезжающих из деревни, и среди чистильщиков вагонов, и среди „съестников" (служащих мелочных, овощных и пр.). Голоса—прямо яркие, типичные. „Дорогие товарищи,—волнуется какой-нибудь чистильщик вагонов (Сев.-Зап. жел. дор.),—для чего у вас голова на плечах? Неужели для головного убора? Неужели вы не в состоянии думать, понимать?... Мы как будто сотканы из приказов и инструкций, а думать о светлом будущем не разрешено... Как хотелось бы писать кровью своего сердца,

а не чернилами, чтобы пробудить в сердцах хоть каплю сознания!... Дорогие товарищи! Не стесняйтесь, что вы чистильщики или проводники 3-го класса, так как не всем же быть гордыми салонщиками, этой пустозвонной аристократией среди нас, а смело идите навстречу правде и свету". Рабочий-парикмахер Л., „отдающий своему хозяину здоровье, силу и время и желающий иметь, кроме куска хлеба, и духовную пищу", пишет: „в самых отсталых и темных,—пишет он,—загорается надежда, что не всегда же будет так, осветятся и нравственные потемки. Но до сих пор остается в стороне одна только группа тружеников-парикмахеров. Их модный костюм и весь внешний лоск точно взят напрокат. Спросите, зачем это делается? Вам скажут, и вполне искренно, что сами в детстве прошли тяжелую школу. Казалось бы, по этому самому нужно было бы поступать обратно, т. е. разумно следя за жизнью учеников, сделать из них не только полезных работников, но и сознательных людей. Ведь нередко за последнее время среди мальчиков-учеников стали появляться (как отдельные личности еще пока) такие, которые не прочь заняться самообразованием и готовы были бы променять Пинкертонов и Холмсов на более полезную книгу; но, к сожалению, желающих притти к нам на помощь нет". Чистильщику вагонов вторит маркер в трактире 3-го разряда. „Я не ошибусь, если назову трактирную промышленность,—поучает он,—приготовительным классом для молодого поколения к преступной деятельности. Книги, рабочие газеты и рабочие курсы—вот наши средства, при помощи которых мы звериный облик можем переменить на человеческий. Только сознательный рабочий человек может истинно уважать человеческую личность, женщину, лелеять нежную детскую душу. Этому мы не научимся ни у кого, кроме самих себя. Мы, сознательные рабочие люди, не имеем право быть похожими на буржуев". Однако, как ни типичны подчас эти восклицания на тему: „неужели и этот голос останется гласом во-

пиющего в пустыне!“ или „работницы—пролетарии кухни, настало время и прислуге учиться, читать, слушать лекции, посещать театр“, это лишь отдельные голоса, которые тонут в умственно-убогой армии низшего труда, в медвежьих углах полукапиталистического характера, во всем царстве „Копейки“ с ее бульварными запросами.

Иная картина открывается, когда поднимаетесь двумя—тремя ступенями выше, в действительный фабричный центр, где уже дает себя знать промышленный подъем. Инертности, которой по плечу уличная газетка, уже нет: здесь дух беспокойства, нервозности, гибель прежних понятий. Там и здесь, как живые, встают вопросы, которые, казалось, уже отступили на второй план, облеченные туманом равнодушия. Психика усложняется с каждым днем, а вместе с ней и умственные запросы. Конечно, погоня за деревенщиной и здесь, то и дело, затушевывает краски. Вот, например, Морозовская фабрика в Твери. Еще недавно „рабочие считались передовыми“. Еще недавно были „своя библиотека“ и театр, где рабочие могли проводить свободное от работы время. Но вот начались расчеты. „Новенькие“ стали на их место, и „молодежь ушла вся в пьянство, литературой не занимается“. Или в Омске, где вот-вот еще была „сознательная жизнь“ в предприятиях города: рабочих культурных заменили некультурными и „стоит сказать кому теперь свободное слово—от него удерут, как от прокаженного“. Мы это видели уже в области защиты рабочей личности. Однако, и здесь глубокого влияния эта тенденция не оказывает. В общем, чем глубже вступаете в полосу крупного капитала, чем ярче признаки экономического подъема, тем эта тенденция бессильнее. Вот, напр., тульские заводы после расчетов. „Рабочие газеты не долетают до кустарей,—сообщает рабочий,—да они, пожалуй, и непонятны для них по своей терминологии и по темам. Зато рабочие больших двух заводов, оружейного и патронного, выписывают рабочую литературу, газеты „Правда“, „Луч“ и „Металлист“. На заводах „Вахтер и К°“ и „Товарищества“ в Боровичах рабочие хотя и „вербуются из местных крестьян, элемента забитого“, но упадок был лишь временный. Точно также опять „подъем и среди боровичских рабочих: уже читаются рабочие газеты, постепенно вытесняется ими бульварная пресса“. „Товарищи,—говорят рабочие ракитно-стеклянного завода Волынской губ.,—давайте все будем читать рабочие газеты, а то мы как бараны все, про нас никто не знает и мы ничего не знаем“.

Вот сведения, которые дали нам рабочие депутаты, объехавшие на Рождестве фабричные центры,—пункты экономического подъема. Всех их поразило чувство бодрости. Беседы их всюду оживлялись критикой, расспросами, рассказами о собственных делах. „Интерес этот явился настолько естественным, настолько неизбежным, что переход совершился как-то незаметно для самих рабочих, точно не было тяжелой, темной полосы. Во всяком случае апатия и инертность отошли в область преданий“, свидетельствовали они. В центрах Екатеринославской губ., которые объехал депутат Петровский, „очень многие считают чтение газет насущным делом. Само собой, большинство читает свою рабочую газету. Отовсюду слышатся возгласы: скоро ли и мы, рабочие, будем беспрепятственно читать свои газеты“? Во Владимирской губ., по свидетельству депутата Самойлова, всюду получаются рабочие газеты „в изрядном количестве“, наблюдается самый живой интерес ко всем вопросам политической и общественной жизни страны; апатия, мертвая спячка прошли. То же впечатление вынес депутат Муранов в Харькове: и харьковские рабочие „снова проявляют интерес к общественной жизни, следят за рабочим движением в других местах, читают рабочие газеты“ и проч.

Правда, депутаты отмечали „упадок текстильной промышленности“, в которой занят столь значительный контингент рабочих. Но во 1) это не упадок, а временная заминка и

во 2) этой заминке предшествовал значительный подъем текстильной промышленности. В общем же идейное оживление наименее коснулось ремесленных, кустарных, торговых транспортных рабочих, наиболее—фабрично-заводского пролетариата двух производственных групп: металлообрабатывающей и текстильной, очагов промышленного расцвета. Отсюда центр просветительных учреждений—рабочий Петроград, где по одному обществу приходится на район. Московско-Владимирский район хотя и отступает на второй план, все же по идейным запросам не уступает южному. Заметнее оживление в промышленных центрах Царства Польского, Прабалтийского края. Наоборот, глуше в приволжском или уральском районе.

II.

Я этим не хочу сказать, что умственный интерес и экономический подъем фабрики неразрывны. Умственный интерес там, где есть общественная жизнь. Свежие настроения там, где весна идет, и рушатся оковы зимы. 1905 г. нам показал, что для этого подъем в промышленности не необходим. Напротив, развитие рабочего самосознания шло у нас во все годы депрессии. Даже сейчас о правильности намеченной линии говорить нельзя. Умственная эволюция пролетариата столь же своеобразна, как и разнообразна, и корреспонденты констатируют местечки Западного края, где умственный интерес бьет ключем, вопреки примитивности экономических отношений, или вместе с тем мертвую спячку, вопреки приливу экономических сил. Но в основных чертах линия такова. Страна пережила промышленный подъем, и идейная волна не могла не итти по линии подъема, как не может она не итти по линии кризиса в момент безработицы; и поучительна не эта неразрывность, а те особенности, которые сообщает рабочему сознанию подъем в отличие от кризиса.

Присоедините близость промышленного кризиса, о котором уже заговорили в Западной Европе, заговорили и у нас. Сама

„Торгово-промышленная Газета", которая, казалось бы, все должна видеть в оптимистическом свете, отметила „признаки ослабления темпа развития". Положение России более „устойчиво", чем в Европе, но сокращение заказов в металлургии наводило газету на мысль о кризисе, который „с неизбежностью рока посетит промышленность". Конечно, и это нарушает правильность линии.

Рабочий 1905 г. не учился, а грезил—все его мысли были около политики. Расчеты, безработица, крахи, беспрерывные, непрекращающиеся, сами по себе—помимо событий – настраивали рабочего на политический лад. И кругозор у него вырабатывался острый, когда не столько важна действительность, сколько принцип, не столько результат, сколько последовательность до конца,—тот партийный романтизм, для которого нет „ближайшего", а есть вера в будущее. И хотя эта вера не была результатом длительной духовной работы, хотя масса в существе даже не разбиралась в хитро редактированных резолюциях, в директивах, до мелочей обдуманных, такова уже логика промышленного развития. Кризис, безработица обостряют сознание рабочего, независимо от того, глубок его духовный опыт или нет, самостоятелен или несамостоятелен. В иных берегах протекала растущая волна идейного брожения накануне войны.

Не то, чтобы идейная преемственность нарушалась. С тех пор, как рабочий начинает уяснять себе свою рабочую природу, он не может „ломать голову" в ином направлении, чем ломали прошлые поколения. Но это уже не романтик. Чувствуется перелом в настроении, элемент постепенности в его рассуждениях, устремление к ближайшим задачам. Он вникает в мелочи, в будничные вопросы. Наоборот, партийность его не выдержана. Элемент принципиальности притупляет „польза самообразования". Нет той остроты, непримиримости, которую мы видели в 1905 г. Рабочий „учится",—анализирует, комбинирует, читает. И конкретное, ближайшее—пробный камень его „успехов". Промышленный подъем точно отрезвил его.

Это не индивидуализм. Было бы ошибочно выводить отсюда, что рабочий аполитичен. Насколько это не так, показывает отношение рабочей массы к партийным газетам. Тираж их достигал многих десятков тысяч в рабочих кварталах. С какой непримиримостью велась одна кампания против „Копейки"! Пора бросить „Листки" да „Копейки"—раздавалось тем резче, чем ярче цвели идейные интересы,—пора „открыть глаза на бульварную печать". „Если вы и получаете „Московскую Копейку",—упрекал рабочий механического завода Сокина в Перми свою мастерскую,—то, что она может дать рабочему!" „Укажет ли буржуазная газета, как бороться с капиталом!" Рабочий фабрики бронзы Кольбе иллюстрировал это примером: „Нелишне указать рабочим, — писал он, — как относится „Газета-Копейка" к рабочим. У газеты заголовок гласит: „трудовая копейка в прок идет"; верно, в прок идет, господа из „Копейки"! День-два тому назад она писала, что у Кольбе забастовка, а спустя день печатает объявление, что там же у Кольбе требуются рабочие. Полюбуйтесь, товарищи, на эту штрейкбрехерскую газету! Что скажете теперь, читая штрейкбрехерскую „Копейку"? „Пусть каждый из нас—убеждали рабочие друг друга—попробует хоть несколько дней подряд покупать и читать рабочую нашу газету, чем читать развращающую нас „Копейку" или загромождать свои головы различного рода рухлядью в виде Пинкертонов и Ник Картеров" (рабочий с. Гольчихи, Костромской губ.). „Вы в них много доброго и лучшего услышите" (служащий в пивной лавке). „Найдете очень много хороших примеров" (рабочий трамвая в Астрахани). Правда, рабочая газета стоит 2 коп., „Копейка" же—1 коп., но „слово правды дороже денег", как пишет вологодский корреспондент. „Читая рабочую газету, пореже завертываете в трактиры. Читая газету „Правда", кажется, что люди начинают быть не врагами, а братьями".

Мы слышим самые разные доводы. „Одни говорят,—аргументирует рабочий балтийского судостроительного завода,—что рабочие газеты читают только партийные люди, другие говорят, что пишется там то, что давным-давно они слышали и знают, что все это уже надоело, и, наконец, третьи признают, что рабочая газета вещь хорошая и пишет-то она всю правду: про вопиющую экономическую нужду, про политическое бесправие рабочего класса. Но говорят, когда они читают эту неправду, то чувствуют свое бессилие и, не желая портить свою кровь, берутся с горя за „Копейку" или за „Современку". На это мы можем с глубоким убеждением ответить. Ведь, когда мы, рабочие, предлагаем читать „Луч", то раньше всего и прежде всего принимаем во внимание глубокую темноту, царящую среди нас. Ведь он прежде всего стремится возместить в нас этот громадный образовательный пробел, научить нас разбираться хотя бы в несложных вопросах нашей повседневной жизни. Возьмите хотя бы вопрос о страховании или заседания государственной думы. Разве все то, что мы черпаем со страниц нашей газеты, мы можем получить от „Копейки" или „Современки"? Нет, и тысячу раз нет. „Единственный выход—читать рабочую газету: только она научает нас понимать свои рабочие интересы",—вторит рабочий И. Валин. „Только на ее страницах изложено все наше горе, указаны пути" (Екатеринослав, Брянский завод).

Профессиональная печать—надо заметить—таким ореолом не окружена. Газета поистине волнует рабочего. „Я вижу,—рассказывает плотник Л. Мамонтов,—когда статья или сообщение появляются хотя бы о строительных рабочих, то последние бегут к газетчику и с лихорадочностью покупают номера, прочитывают, передают друг другу". Если же вспомнить, что это голоса не сотен, а сотен тысяч, то, очевидно, об аполитицизме говорить не приходится. Но все же и закрывать глаза на факты не надо. Умственные интересы все-таки передвинулись по сравнению с 1905—06 гг., когда масса училась по листкам, по резолюциям. Все-таки уклон

от политики налицо, и не надо большой проницательности, чтобы уловить, в какую сторону. Пытливый ум труженика фабричного станка ищет зерна знания. Он стремится к самообразованию, к расширению умственного горизонта в элементарном смысле этого слова, предпочитает литературе агитационной популярно-научную. И—как ни оценивать эти поиски науки с разной высоты—перед нами высоко любопытная, единственная в своем роде картина умственного движения.

Сравните опыт рабочих просветительных обществ. В 1905—06 гг. общества самообразования как-то не привились. Хотя и каждый профессиональный союз ставил своей задачей устройство курсов, школ, библиотек, читален, публичных лекций, экскурсий, общеобразовательных бесед, но союзы были поглощены политической деятельностью, и просветительные задачи в специальном смысле слова оставались на втором плане. Только неудачи бурных лет, обессилившие профессиональное движение, с его боевыми задачами, впервые выдвинули просветительные учреждения в целях расширения умственного кругозора рабочих на первый план. В то время как профессиональным союзам наносился удар за ударом, и под давлением репрессий рабочие разбегались,—рабочие общества самообразования начинают расти. Уже во второй половине 1907 г. их насчитывается 15. К 1914 г. в одном Петрограде их функционировало 8: „Наука и Жизнь“ (основано в 1913 г., число членов 252); „Образование“ (основано в 1907 г., число членов 200, при обществе 2 библиотеки и читальня); 2-е общество „Образование“ (основано в 1908 г., число членов 236); 3-е общество „Образование“ (при нем детский сад); „Знание — Свет“ (при нем вечерние курсы); 4-е общество „Образование“ (при нем вечерние курсы, основано в 1907 г., число членов 1.075); „Знание“, „Источник света и знания“. За Петроградом следует Москва. Здесь в 1914 г. числилось 4 просветительных общества: общество содействия устройству общеобразовательных народных развлечений, московский даниловский музыкально-драматический кружок, рабочий замоскворецкий клуб и 3-й женский клуб. Из Петрограда и Москвы общества перекидываются в провинцию, и „общее образование во всех его видах — высшее, среднее и низшее, а также внешкольное“,—как говорилось в уставе нарвского общества „Образование“,—идет на смену жарким схваткам. И хотя ни в одном из уставов техническое, профессиональное образование даже не упоминается,—в противоположность западно-европейским рабочим, которые его выдвигают; хотя, наоборот, наши просветители, пережив ожесточенную борьбу, подчеркивали, что эта борьба показала им незрелость рабочих верхов, невежество рабочей массы, что только свет истинного знания может сделать продуктивным движение, подобное движению 1905 г.,—все же перед нами уже культурнические учреждения, политикой не занимающиеся, а лишь стремящиеся внести просветительную инициативу в самую толщу массы. Это, с одной стороны—место школьной учебы, с другой — общение на почве экскурсий, литературных вечеров, спектаклей.

Конечно, это была линия наименьшего сопротивления. Но не одни репрессии создавали уклон. И, если характерен уже самый факт оживления просветительных обществ на том месте, где только что кипели политические страсти, интереса к вопросам знания как раз в то время, когда партийные ячейки распадались, то не менее достойно внимания, что промышленный подъем, начавшийся с половины 1909 г., поддерживал этот интерес, эти учреждения, поскольку, конечно, можно было говорить о просветительных учреждениях в тисках полицейской светобоязни. И вот былые настроения впоследствии выросли во всей неотразимости, а жажда знания не иссякала; потребность общения на почве политических интересов опять ковала боевые союзы, а жажда знания оставалась. Жажда „самообразования“ была резче направлена в сторону политической экономии, но и только.

III.

Развитие обществ самообразования приостановила лишь война.

Разумеется, условия, — и полицейские, и чисто социальные, в которых рабочий утолял свой умственный голод, — до нельзя умаляли этот рост. Это, выходило, подвиг, истинный подвиг, который „чистой публике“ даже не видать со стороны. Начать с того отупляющего действия, которое оказывает сам по себе труд одиннадцатичасовой. „Я—портниха,— говорила в своем докладе на съезде по женскому образованию Шишкина, —мы работаем в портняжных мастерских не менее 11 час., от 9 до 8 вечера. Это в обыкновенное время. Но портняжное ремесло имеет свои сезоны, когда о длине рабочего времени говорить не приходится. Работаем, сколько влезет. Точно так же воскресный отдых. И вот мы, женщины-работницы, стоим перед жгучим, больным для нас вопросом о внешкольном образовании. Ну, где уж тут думать о самообразовании!“ „Трудно сказать, что лучше, — каторга или труд булочника, — подтверждает булочник, — работая ночью, проводя день во сне, нет возможности пойти на лекцию“. При таком напряжении, — по уверению рабочих, — ищут не зерна истины, а то, что отводит от нее. „Копейку“ несознательный рабочий читает и будет читать, пока не изменятся каторжные условия труда,—слышим мы,—ибо содержание „Копейки“ отвлекает рабочего смотреть истине в глаза, дает забыть хоть на минуту свое невыносимое положение, между тем как „Правда“ поступала и будет поступать наоборот. „Правда“ как раз толкает рабочего, — и это так должно,— осмотреться кругом себя, понять и думать о своем положении,—ее призыв на отдых и забытье“. Затем—фабричная цензура. „Ненавидят эти господа-кнутики рабочую газету, — пишет рабочий-шахтер ст. Горловки (Екатериносл. губ.), — вот если бы существовала такая газета, чтобы на передовой странице ее красовалось объявление: такой-то при-

глашается в гостиницу Смирнова выпить бутылочку зубровки и сыграть партию в биллиард, а такой-то к Абрамянцу скушать порцию шашлыка и выпить пару бутылок удельного— вот это по их вкусу, конечно, за счет рабочего“. Да еще как „ненавидят“! Рабочим в Нарве запрещено было читать что бы то ни было. „Достаточно для них, пьяниц, и Нарвского Листка“ (черносотенного). В Перми на мотовилихинском пушечном заводе „приказами“ изгонялась литература. В русских предприятиях Гельсингфорса хозяева увольняли с заводов рабочих, читающих газеты и т. д. Правда, рабочие, даже серые, высмеивали подобные нелепости. „С точки зрения Клейнера, — подшучивает, напр., рабочий завода Клейнера (Большой Токмак, Таврической губ.)—газета „Правда“ самая опасная. Но рабочим не следовало бы забывать, что Клейнер не спрашивает у рабочих, читать ли ему или не читать „газету предпринимателей“. Если же Клейнер не спрашивает у рабочих, что ему читать, то зачем рабочим прислушиваться к голосу Клейнера? Ведь мы продаем ему только свою рабочую силу, но не душу“. Но это не мешает массе бояться. Ведь каждый управляющий в каждой фирме имеет лазутчиков, специальность которых следить, что читают рабочие. „Выпишешь „Луч“,—замечает рабочий из Бобруйска, — а тебя пошлют в Туруханский край или в тюрьму посадят“.

„Всеми признается, — видите ли, — что для пользы дела хорошо иметь трезвого и развитого рабочего, ценится это и администрацией мастерских, но беда только в том, что она тут же впадает в противоречие и, вопреки здравому смыслу, норовит держать рабочего в „черном теле“,—тормозит развитие просветительных учреждений и всякое проявление самодеятельности рабочего“ (Екатерининская жел. дор., рабочий).

Надо ли удивляться, если в этих тисках просветительное общество то умирает, то оживает? Вот, напр., картинка, повторяющаяся время от времени. „Никаких запросов, требований, заявлений насчет экскурсий, лекций или чего-либо

другого в правление не поступало и не поступает,—жалуется рабочий-деятель.—И не знаешь, для чего существует общество, для чего существуют члены? Такие явления принято объяснять внешними условиями. Это легче всего и проще всего, а в самом деле не в этом все зло. Много лени, халатности есть в каждом из нас. Было время, когда все делали интеллигенты. Теперь их нет или почти нет, а мы все еще продолжаем на кого-то надеяться... Ни материальной книги, ни одного сносного каталога. Хуже того, все комиссии старого правления разбежались, не введя в курс дела новых членов, и последние очутились, как на необитаемом острове—начинай снова! Работали, воображали, что приносим пользу, а получилась путаница, разруха". Жалобы на интеллигенцию в этих случаях характерны. „Эта задача,—читаете вы то и дело,—оказалась невыполнимой без помощи интеллигентных тружеников, которые вначале обещали свое содействие, а затем обещания и остались обещаниями". Но в том-то и дело, что упадок этот временный. Не проходит нескольких месяцев, как мы уже читаем: „несколько времени тому назад общество находилось на краю гибели: не было ни денег, ни работников. Теперь уже совсем другая картина: у библиотеки и самовара, как и раньше когда-то, толпимся, оживленно обсуждаем различные вопросы. Работы у библиотекаря хоть отбавляй. Почти каждый день заседает какая-нибудь комиссия, дела налаживаются и налаживаются хорошо. Словом, справились с временными невзгодами, намерены жить и развиваться". Или: 3 месяца тому назад число членов почти равнялось нулю. Из ничего нужно было создать организацию. Здесь-то и обнаружилось отношение рабочих к своему кровному детищу. „Масса пришла на помощь правлению. Да послужит краткая история возрождения этого общества наглядным уроком!" (общ. „Образование" за Моск. заст.).

Так в каждом обществе: то отлив, то прилив, хотя, в общем, только и слышишь: „теперь время ценное, нечего

ждать чудес откуда-то свыше, а нужно брать самим то, чего мы не имеем: нам нужен светоч—общество самообразования" (рабочий из-за Московской заставы); „пора рабочим экспедиции (заготовления госуд. бумаг) не проходить мимо, когда более развитые товарищи поднимают такие вопросы, как устройство рабочего клуба; ведь для этого в экспедиции есть масса удобных помещений; а клуб для нас необходим, как для человека воздух". И характерен довод, которым рабочие убеждают друг друга. Член правления культурно-просветительного учреждения „Общество" подчеркивает в своем докладе: „в момент промышленного подъема необходимо напрячь все силы, чтобы создать прочные организации, которые не смогли бы погибнуть в момент кризиса". Рабочий фабрики Эриксон пишет: „Чуть ли не каждый день идет приемка новых рабочих, преимущественно механиков. У нашей фабрики имеются большие заказы. Рабочим не мешало бы учесть настоящее положение".

Рост просветительных обществ тех лет виден из следующих цифр. В общество „Образование" с 1 декабря 1912 г. до 1 февраля 1913 г. вступило 370 новых членов. В „Обществе женской взаимопомощи" в начале 1912 г. было 100 членов, а к концу 500. В „Обществе духовного развития имени М. М. Стасюлевича" в январе 1912 г. было 100 членов. К августу же эта цифра увеличилась в 6 раз, вскоре после того в 9 раз. С 1 декабря по 21 февраля число членов „Общества" выросло в 3 раза и т. д. В Киеве в об-ве распространения образования в народе из 12.300 слушателей было 9.656 рабочих.

Цифры эти тем большего значения, что век просветительного общества был век недолгий: малейшая погрешность против устава, и оно закрыто в расцвете сил. Напр., „просветительное общество Петроградской стороны" насчитывало при своем закрытии 1.000 членов (после 10-ти месячного существования), общество имени М. М. Стасюлевича—900

и т. д. Состав же членов исключительно рабочий — в отличие от 1905 — 6 гг., когда подобные организации были переполнены интеллигентами. Теперь интеллигентов увидите разве в качестве лекторов, но отнюдь не в качестве деятелей. О том же говорит и рост библиотек. Напр., в библиотеке общества имени М. М. Стасюлевича насчитывалось 900 томов, общ. „Образование“—1.000 томов, „Знание“—1.351 том, „Просвещение“—2.000 томов, „Общ. женской взаимопомощи“—2.000 томов и т. д. Одно общество „Знание“ устроило за короткое время 18 лекций, которые посетили 4.290 чел. (за год 78 лекций), общество М. М. Стасюлевича—13 лекций, на которых перебывало 2.000 слушателей, общество женской взаимопомощи—17 лекций, общ. „Источник света и знания“—9 лекций для 1.248 слушателей. Общество „Просвещение“ за 3 года устроило 354 лекции, на которых перебывало 19.834 рабочих.

Члены, по преимуществу,—молодое поколение. Старичков видите в исключительных случаях. В общ. „Источник света и знания“ было от 18 до 23 лет 135 членов, от 35 до 40 лет 10 человек. В обществе „Знание“ всего 5 человек имело более 40 лет, громадное же большинство (247 чел.)—холостые и в возрасте до 30 лет 250 человек. Около половины членов были не старше 21 года и в других обществах.

Лучший признак жизненности просветительных учреждений—просветительная горячка профессиональных союзов, не бумажная, как в 1905—06 гг. „Без библиотеки и читальни—пишет член профессионального союза архитектурно-строительных рабочих—существование союза не имело почти никакого значения. Теперь с открытием библиотеки и читальни в нашем союзе дела пойдут много лучше, чем в прежние года. Это усилит приток к нам новых членов“. И профессиональный союз должен стать „школой, преподаватели в которой сами рабочие“, ибо „книжный голод среди рабочих ощущается неимоверно; просят книгу, как хлеб насущный, и мы эту книгу должны раздобыть“. И союзы теперь, в самом деле, уделяли рабочему просвещению много больше внимания, чем прежде. Обзаводились библиотеками. Профессиональные союзы рабочих: металлистов, каменьщиков, портных, маляров и столяров, которым администрация не разрешала собственных библиотек, вошли в соглашение с обществом „Друг трезвости“. В союзе конторских и промысловых служащих в Баку библиотека содержала 1.020 томов, в библиотеке союза золото-серебряного и бронзового производства в Петрограде—400 томов. Союз деревообделочников приобрел на первых порах книги по вопросам рабочего движения. В союзе футлярщиков вопрос о библиотеке стоял очень интенсивно... За библиотеками следовали лекции. Членам союза деревообделочников даже „не всегда удается попасть на лекцию“: так стал велик интерес к книге [1]).

Рабочие шли всюду, где только можно чему-либо поучиться, подчас жестоко высмеивая буржуазные затеи этого рода. Вот, напр., как группа работниц изображала московский клуб работниц при обществе попечения о молодых девицах. „Г-жа Аннараут уверяла и клялась,—писали они,—что у нее социалистическая душа. Но все же рефераты пишут работницы слишком „резко“, „односторонне“, а это неприятно звучит для благородных дамских ушей. Стыдно же признаться, что боится „вредного“ влияния более сознательных работниц на остальных“. Однако, стоит буржуазному начинанию сколько-нибудь серьезно пойти навстречу умственному голоду рабочего, чтобы встретить и доверие, и признание.

[1]) На этой почве состоялось в свое время объединенное совещание представителей профессиональных союзов и обществ самообразования, создавшее две группы: техническую (для организации лекций и докладов) и лекторскую (для выработки тем). От совещания до органа, согласующего культурную работу всех организаций, создающего общие культурно-просветительные предприятия — один шаг, хотя в данный момент такого органа не существовало.

Живой пример—общество народных университетов, которое начало играть все большую и большую роль в культурной жизни рабочих масс Петрограда. Так как на первом месте в рабочей среде стоит потребность в понимании не тех областей человеческой жизни, которые далеки от жгучих вопросов, а именно тех, которые питают социальные противоречия, то одно время возник на отдельных делегатских советах и с тех пор обсуждался в рабочей печати вопрос, следует ли „бросаться в объятия“ народных университетов, не равносильно ли это игнорированию собственных учреждений. Однако, преобладало мнение, что это отнюдь не значит „подрубать сук, на котором они сидят“, что нужно лишь рабочим войти в соглашение с народными университетами. Вот мнение, типичное для широких слоев. „При всем нашем уважении к народному университету, — писал член культурно-просветительного общества „Наука“,—не можем не сказать, что это учреждение не наше, не рабочее, и мы, рабочие, там являемся временными гостями, — не больше. Не то — рабочие клубы. Здесь каждый рабочий, член такого клуба, прежде всего чувствует себя независимо, так как знает, что это его общество, что в создании этого общества есть и его доля энергии. Но рабочее движение последнего времени требует от рабочих все больших знаний. И вполне понятно, что народный университет все больше и больше начинает играть роль в жизни рабочих, которые туда идут. Следовательно, задача союзов—везде и всюду указывать рабочим, что, идя в народный университет, они должны помнить, что их место там только временное, что, получив опыт и знание, они обязаны вернуться в свои общества, клубы и союзы“ [1]).

Бесспорно и здесь — „мягкотелость“, если принять во внимание, что рабочие общества теперь обходились без всякого участия интеллигенции. В 1905—06 гг. учреждение,

[1]) Ср. „Заря Поволжья“, № 6, стр. 10.

двери которого раскрыты для разных направлений, и для мистиков, и для патриотов, встретило бы острую оценку, независимо от богатства лекторскими силами, от связей всякого рода. Не потому, конечно, чтобы рабочий этого не учитывал, а потому, что широты той уже не было, а вместе с тем того внимания к вопросам образования. Теперь же рабочий уже рассуждал так: все равно рабочее общество в силу бедности, в силу преследований не может поставить дело рабочего просвещения широко. Помощь интеллигенции буржуазной нужна в этом деле. А где ее раздобыть? Чтобы устроить систематические курсы лекций по всем отраслям знания, нужны и средства, и помещения. Ведь „знание— как пишет один рабочий — вторая теперь жизнь“... В 1905—06 гг. вопрос о знании был вопросом о социально-политическом знании и только. А раз так, народный университет—политический конкурент.

Не резко окрашен и характер деятельности просветительной. Промышленный подъем резче, чем когда-либо, подчеркнул рабочей массе, что образование—базис не только духовного, но и материального благополучия, что культурный рабочий может рассчитывать на заработок больший, чем некультурный, и просветительное общество—с какой бы энергией ни дебатировался вопрос о преобразовании его в рабочий клуб— все-таки прежде всего школьная учеба.

Образование в России, как и все прочее, находилось в руках господствующих классов. Они же располагали школьную систему в лучшем случае как? „Посмотрите, добрые люди,— восклицает рабочий,—какой мы проходим „курс“? Да все тот же, что в деревне в сельской школе. Читаем библии, псалтири и евангелия“. Вот—школа Балтийского завода. Кажется, и учитель хороший. Но в первый же момент „радостное настроение рабочих испорчено фактом: при входе начальника завода ученики школы по команде „смирно“, как заправские солдаты, отчеканивают: „здравия желаем, ваше

пр-ство“. Думается, что мы отдали в школу детей для получения знаний, а не для забивания их головок шагистикой—они ведь не потешные“. Раз же с ростом просветительных учреждений явилась возможность устраивать свои школы, свои курсы, рабочий не может не ждать этого. Школы технического общества, воскресные школы не многочисленны. Вообще же государство, город, земство—как говорил представитель группы рабочих московского района на чествовании 10-летней деятельности народного дома гр. Паниной—были равнодушны к культурным потребностям рабочих, и если просветительную работу вели, то филантропы и меценаты-одиночки. Но рабочие не могут удовлетвориться крохами, перепадающими им от филантропии; не могут удовлетвориться ролью гостей у гостеприимных хозяев. Уже назрела потребность в собственных очагах. И рабочие организации налаживают и школы, и курсы. Напр., сампсониевское общество образования наладило занятия по русскому языку, арифметике, черчению, геометрии, алгебре. Школу посещало 100 человек. Школа общества „Наука“ разделена была на 3 группы. В первую группу вступали безграмотные. Курсы же функционировали или самостоятельно (напр., вечерние курсы на Петроградской стороне, бесплатные вечерние курсы для взрослых в Благовещенске) или при обществе (курс лекций по юридическим наукам и рабочему законодательству для членов рабочих союзов). Бывало и так, что рабочее общество (напр., союз конторщиков) входило в соглашение с общеизвестными популярными курсами (напр., курсами М. В. Побединского) насчет скидки с платы за учение. И дошкольное воспитание привлекает внимание сознательного рабочего. „Некоторые из организаций, напр., „Секция детских садов при об-ве народного университета“—пишет рабочий—в Самаре за 3 года привлекла около 2.000 ребят, главным образом, детей бедноты. Нужно было видеть, как тысячная толпа ребятишек, „детей улицы“, без всякого принуждения, училась, играла, работала. Даже такие маленькие

города, как Челябинск, Кунгур и т. п., выступают на тот же путь“. Однако, учеба—учебой, проклятый вопрос—проклятым вопросом.

IV.

„Учеба“ редко ведет здесь к мещанству. Вообще, узость в оценке задач, смысла знания—большой грех в глазах культурного рабочего. „Существует здесь кружок читателей журнала „Вестник Знания“,—сообщает, напр., корреспондент из Шуи.—Члены сходятся, читают, ведут дебаты. Вот и вся ихняя „работа“. Когда в разговоре с ними приходится задавать близкие сердцу и делу рабочих вопросы, они отделываются молчанием или переводят разговор на другую тему. Хороша сознательность“! „Свой“ лектор резко разнится от не своего. „Сейчас у нас наблюдается следующий факт,—возмущается екатеринославский рабочий;—один из нас, рабочих, пригласил Милюкова прочесть несколько лекций, хотя оценка этих вопросов („вооруженный мир“) у с.-д. и к.-д. разнится“. В ряде обществ был поднят вопрос, могут ли они пользоваться услугами лектора Филатова в виду того, что г. Филатов по вопросу о войне оказался не социалистом. „Оказавшись не социалистом по одному вопросу, он, мол, может развивать буржуазные взгляды и по другим“. И хотя члены-рабочие высказывались в том духе, что „надо повременить“, но все-таки это с ясностью показывает, что только низшие категории труда добиваются путем образования более высокого заработка, десятки же тысяч рабочих оценивают знание, подобно рабочему Александровского завода, который пишет из Петрозаводска: „надо помнить, что в знании—сила. Знакомство с жизнью нам необходимо, так как сознательных и понимающих рабочих не так легко будет обмануть нашей хитрой администрации“. Нет человека, который возбудил бы в рабочих больше презрения, чем „бывший“—сознательный, но употребивший свое знание в целях чисто личных. „Почти

никто из „бывших людей“ не ударит теперь палец о палец“,— слышите вы со всех сторон.—Те „бывшие“, что „теперь сосредоточились на презренном алтыне“ (Тула, оружейный завод), „умудряются под вывеской библиотеки продавать билеты на спектакли, где выпивают по 8 ведер водки“ (франко-русский завод), „все старое забыли и длинные волосы срезали“ (керосиновый склад бр. Нобель), „получили лучшие должности да сделались премудрыми пискарями“ (Клин, бумагопрядильная фабр.). „Знайте же, гг. бывшие,—восклицают корреспонденты,—что у вас общее с идеей рабочих давно растворено в водке“; знайте, что „мы будем контролировать вас“. „Вы—огромное зло не только нашей мастерской, но и всего рабочего класса, так как бывшие люди очень ценятся нашими врагами“ (Балтийский завод).

Идейные тенденции рабочих, между прочим, иллюстрируют анкеты. Хотя они, большей частью, неполны, но известное представление, бесспорно, дают. И здесь школьные занятия—одно, книга—другое. Сидя над арифметикой, русским языком, рабочий не перестает искать ответа на общие вопросы. Так,—согласно анкете общества „Знание“—все без исключения выразили желание заниматься школьными предметами. Но в то же время—регулярно или нерегулярно—но все читают. Читают газеты: „Правда“, „Луч“, „Современное Слово“, „Речь“ (2/3 всех опрошенных—регулярно), журналы: профессионально-рабочие, „Современный Мир“, „Русское Богатство“. По беллетристике больше всего читается Горький, затем Толстой, из научной литературы—книги по рабочему вопросу, по литературе, и „лекции, читающиеся в обществе, не только большинству понятны, но даже для многих являются слишком популярными“. В общ. „Просвещение“ наибольший интерес проявлялся к общественным вопросам (9.000 слушателей), затем к литературе (5.000) и естествознанию. Книги брались по экономическим вопросам—11%, по истории—6%, по литературе,—4%, по философии—2% и т. д. Среди

металлистов первые места занимают Л. Толстой, М. Горький, А. Чехов. После художественной литературы следуют журналы. В обществе „Знание—Свет“ больше всего увлекались естественными науками, затем политической экономией и философией, затем литературой и историей. „Последнее время особенно появился среди рабочих интерес к экономическим вопросам“. В обществе „Источник света и знания“—после беллетристики—на первом месте стояла политическая экономия, хотя число читателей, в общем, колебалось. На вечерних курсах на Петроградской стороне „есть читатели с вполне определенными запросами: так, одни читают, главным образом, по истории, другие по мироведению и т. д. Замечается стремление к систематическому чтению: сначала просят книги по истории Греции и Рима, затем переходят к средним векам и, наконец, к новой истории“. В чтении беллетристики замечалось тяготение к литературе классической. Рабочие предпочитали „Тургенева, Толстого, Достоевского, и на эти книги такой большой спрос, что они почти не лежат в библиотеке, а всегда у кого нибудь на руках“. Это—своего рода горячка.

Так-то и натыкаешься на рабочих, которых описывал Б. Ш. Зайдя в какой-то союз за №№ профессионального журнала, он разговорился с секретарем, который положительно поразил его своим красноречием, знанием дела. Смущения перед интеллигентом никакого. Каково же было его изумление, когда на вопрос: „вы какую школу кончили?“, рабочий ответил: „никакой школы не окончил“.

Пусть рабочий „никакой школы не кончил“, перед ним уже целый ряд вопросов первостепенной важности. Он уже не может не интересоваться ни проблемой брака (не может потому, что значительный процент рабочих, как показывают данные петроградской городской думы, живет гражданским браком), ни национальной проблемой. Если в Киеве рабочие ювелирного цеха еще принимали „рабочих-евреев за друзей хозяина еврея“, то польские рабочие в дни бойкота евреев

в царстве Польском воочию показали, что националистические предрассудки отходят здесь в область прошлого. Согласно результатам анкеты, только один рабочий высказался за бойкот. Поучительна и религиозная эволюция. Во время переписи Петрограда рабочих сплошь и рядом смущал вопрос о вероисповедании. „Да я никакого“,—отвечали они,—„уже бросил всякую веру“, „живу мыслью“,—или: „по паспорту православный“. Нет области, в которой бы рабочий-демократ чувствовал себя так натянуто.

Вот, напр., управляющий: не войдет в магазин, чтобы не помолиться перед иконой. А „малейшая неисправность и „набожный“ управляющий превращается в льва рыкающего“,—иронизируют рабочие. Омские рабочие, рабочие новгородской фабрики фарфоровых изделий, по их выражению, „побили рекорд фанатизма“. „В то время, как рабочие всей России пробуждаются, у нас какое-то лампадное настроение. Может быть, у нас благодаря нашей богомольности несчастных случаев не бывает, заработная плата высока и вообще жить привольно (Екатеринбург, ж.-дор. депо)?“ Когда причт св.-троицкого собора обратился к рабочим с поучением об их религиозно-нравственных обязанностях, то рабочие поговаривали: „однако, было бы не худо, если бы к этому причт внушал хозяевам поменьше изнурять работой да прикладывать „отеческие руки“...

Конечно, спрос на книгу серьезную сравнительно с беллетристикой еще не велик. Даже у металлистов на книги беллетристического содержания падает 80% выдач. Но это не погоня за легким чтением. Длинный рабочий день оставляет слишком мало времени рабочему для преодоления научной книги, как таковой. И он ищет ответов на проклятые вопросы в художественных образах, требующих меньшего напряжения.

Даже область развлечений рабочие стремятся сделать орудием этой потребности в развитии. Развлечения, устраиваемые „для народа“—слышите вы—неизменно рассчитаны на

дурной вкус, на отсутствие идейности у рабочих. Рабочей демократии нужны развлечения, которые бы воспитывали, развивали. Вот ряд экскурсий,—художественные выставки, промышленные выставки, горный музей, обсерватория, толстовский музей, выборгский рабочий дом—все с образовательными целями. Одни лиговские курсы устроили 11 загородных экскурсий, общ. „Просвещение“—52 экскурсии, „Источник света и знания“—3 экскурсии (за 3 месяца существования) и т. д. Затем ряд литературных утр и вечеров, посвященных памяти Толстого, Надсона, Чехова, Пушкина, Тургенева, Некрасова, Лермонтова и др. Все просветительные общества посвятили вечера и утра памяти К. Маркса. Даже концерты здесь служат столько же средством развлечения, сколько способом ознакомления с творчеством писателей и поэтов. Лекция же рабочего вводит в курс эпохи, знакомит с жизнью, идеями писателя, развитием таланта. Остальное дополняют певцы, чтецы, декламаторы,—из своих же. Надо побывать в такой зале, заразиться той бодростью, какой веет изо всех его углов, чтобы увидеть, сколько рабочие вкладывают здесь живого творческого напряжения. В связи с таким взглядом на развлечения и стоит оживление интереса к рабочим клубам, которых—строго говоря—у нас было всего 11 с 1906 по 1909 г. Черта, отличающая рабочий клуб от просветительного общества,—доступность. Сюда идет рабочий, чтобы отдохнуть в веселой товарищеской среде, обсудить план прогулки, спектакля, пикника, послушать оркестр, заглянуть в чайную-столовую и пр. И, выходит, в одно и то же время и развлечение, и школа.

Вот—объекты умственного возбуждения рабочей массы. Конечно, первые промышленные крахи, и рабочая мысль отливает в сторону 1905 г. Текстильная „заминка“, лодзинская безработица эту перемену, так или иначе, местами иллюстрировали. Однако, вопреки факторам, менявшим нарисованную картину, умственное движение крепко довлеет себе вплоть до

разразившейся войны. И хотя, бесспорно, идея антагонизма не бьет глаза в такое время, классовые противоречия как бы затуманены, но все же только благодаря этой волне стали возможны факты огромной важности. Когда на съезде фабричных врачей рабочий прочел блестящий доклад о жилищных условиях рабочих нефтяных промыслов в Баку, то организаторы съезда предложили тотчас докладчику напечать его доклад в трудах съезда. Но в руках рабочего—вместо доклада—оказались одни цифры... Точно также на съезде представителей народных университетов небольшая кучка рабочих столь умело вела защиту своих предложений, что предложения эти проходили в секциях большинством голосов. Рабочая группа прямо руководила первой секцией, редактируя ее постановления, но это хоть рабочие. Впоследствии же работница Алексеева, под шумные аплодисменты 1.500 рабочих и работниц, докладывала о „женщине в промышленности", портниха Шишкина на женском съезде—о внешкольном образовании работниц... Рабочие-деятели выступают всюду и везде, где раньше выступали интеллигенты. Неумение говорить на тему отходит в область прошлого. Вырабатывается интеллигенция рабочая, которую по подготовке, по уменью обнять предмет, расположить аргументы не отличите от интеллигенции привиллегированных кругов.

Мы отнюдь не хотим преувеличивать ни размеры, ни значение рабочей интеллигенции. Но факт налицо. После 1906 г. бежала интеллигенция буржуазная, бежала повально, рабочий класс оказался предоставленным самому себе. Однако же, чем быстрее происходил этот уход, тем глубже шло рабочее саморазвитие. Шло потому, что место интеллигента-„руководителя" занял интеллигент-рабочий. Роль его оказалась совсем не той, что была раньше. И мы невольно спрашивали себя: если умственно растущий рабочий опрокидывает даже то, что встречает он на своем многострадательном пути, то что же было бы, если бы этих застав на пути не было?

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВОПРОСЫ ЧЕСТИ И СОВЕСТИ В РАБОЧЕЙ СРЕДЕ [1]

[1]) Все цитаты взяты из заметок и корреспонденций, написанных рабочими и напечатанных в рабочей профессиональной печати.

Давно замечено, что первые вопросы, которые ставит перед рабочим сознанием город,—вопросы „чести и совести“. Еще 20 лет тому назад Чехов противопоставил зоологическому „смирению“ мужика чуткость Николая Чикильдеева, представителя трактирной цивилизации.

— Нужно тоже и свою гордость иметь...

Резких сознательных проявлений даже еще не видите. Это борьба за высший тип пролетарской личности, личности, сознавшей свои права, страдающей от того, что ее топчут. Но борьба в ранней элементарной форме—за то, чтобы не смешивали „рабочего с четвероногим“, за самое звание человека, первая ступень внутреннего самоопределения рабочего, подпавшего под культурно-общественное влияние фабрики.

Точно вот-вот только открыли глаза „униженные“, „оскорбленные“: делятся друг с другом своими признаниями. „В какие времена мы живем?—начинает, скажем, рабочий экспедиции заготовления государственных бумаг.—Это не двадцатый век, а полвека тому назад, когда мы были в полной власти у сильных людей: в России происходит торговля людьми“.—„Так и говорят:—откликается адмиралтеец (адмиралтейский судостроительный завод)—ребята, не жалейте бича и двуногих животных—все равно новых впряжем“.—„У нас привыкли, видите ли, смотреть на рабочих, как на вьючное животное, которое без кнута не заставишь шевелиться. Лич-

ность человеческая ставится ни во что“ (Екатеринослав. Брянский завод). „Не мастера, а какая-то конвойная команда, не рабочие, а арестанты“ (завод Барановского). „Жизнь человеческая ставится ни во что: потому и сидишь дома, что в тюрьме“ (служащий мелочной лавки). „Чья жизнь катится, как барская карета по укатанной дороге, не имея на пути препятствий? Не считают нас за людей?“ „Не признаемся за людей, а считаемся вещью, которую можно выкинуть в любой момент“ (типография Вайсберга). „Калоши дороже человека“ (рабочий аксаец. Нахичевань-на-Дону). „Вот, говорят, за-границей отдых введен даже для лошадей. Житье же наше рабочее—хуже лошадиного!“ (Апраксин двор).

Штукатуры, каменщики, самоварщики дают несколько образчиков этого унизительного состояния. „Кого сторонится чисто одетая публика?—спрашивает штукатур.—Штукатуров, каменщиков. Все имеют право итти панелью: барин, проститутка, оборванец, негодяй в котелке и модной одежде, а труженику, честному труженику, нет здесь места. Панелью пойдешь—перепачкаешь известкой „чистую публику“, мостовой—итти на смерть. А кто сброшен рукой городового на мостовую из вагона трамвая? Все он же, бедный, всеми презираемый труженик. Остается один путь—воздух, но, увы, он ему пока недоступен. Для него нет нигде пути“. Так, штукатур теряет облик человеческий из-за одежды рваной; самоварщик же, наоборот, из-за одежды приличной. Самоварщик Н. рассказывает, как в Туле в чисто одетом рабочем фабриканты видели „врага, оскорбляющего их своим человеческим достоинством“. Чисто одетый рабочий точно говорит фабриканту:

— Обращайся со мной лучше.

Когда один из самоварных рабочих надел в 1903 г. пушкинскую шляпу, то контора уволила его. На вопрос же, „за что“, ответила: „какой уж ты рабочий, когда в шляпе ходишь“. В самом деле, „как бы неловко, стыдно... ведь самоварщики мы“... и сами рабочие, когда шли наниматься к фабриканту, то всегда одевались так, чтобы „походить на забитого жизнью крестьянина“. Еще характернее жалоба официанта. Не только подручные в пивных, но и все служащие трактирных заведений, как известно, живут не на жалованье, а на „чаи“. „Человек“ должен „бежать“. Не побежишь, на „чай“ не получишь. „Нужно услужить“ посетителю; не услужишь, выгонят, „как собаку“. Из-за чаев он продает свое человеческое достоинство, свои улыбки, как несчастная женщина, которую судьба заставила торговать своей честью. Не мудрено и потерять образ и подобие человеческое.

Так-то—заключает „свечник“—„все, что было лучшего в человеке, молодость и здоровье принесешь в жертву „отцам“-хозяевам за... плату, за холодный и вонючий обед и ужин. А когда ты уже не нужен, тебя выбрасывают, как ненужный хлам“. Ты теперь „страдаешь ревматизмом от сырых подвалов, головной болью от скверного воздуха, катаррῸм горла от сквозняков“, но „человека“ себе все-таки не заслужил.

Нет номера рабочего издания, в котором бы серые закоптелые люди не делились в один голос этими безхитростными рассказами,—рассказами о том, как они вынуждены продавать не только свою рабочую силу, но и свое человеческое достоинство, как давит их деление людей на черную и белую кость, это наследие крепостного права, которое из забитой деревни перебралось в каменные пустыни фабрик, как господствующие классы прямо и представить себе не могут, что человек из рабочей среды есть „тоже человек“. Никто иной ведь, как г. Тимирязев, министр торговли и промышленности, в дни ленского расстрела признался, что требование вежливого обращения со стороны рабочего—требование политическое...

Разумеется, рабочие не ограничивались рассказами. Раз уяснив, что права личности рабочей ни на вершок не подвинулись от времен крепостного права, они не могли не про-

тестовать, не вставать на ее защиту. И вот со всех сторон один какой-то нераздельный вопль: „мы тоже люди“, „мы тоже хотим человеческой жизни“. Ведь опыт народной жизни— по свидетельству такого знатока ее, как Глеб Успенский— не таков, как опыт „чистой публики“: подлинно задевает „за живое“, выжигается на сердце, как клеймо, неизгладимо; и того, что выжжено вчера, сегодня нельзя забыть...

„Много уж лет—пишет новгородский рабочий (фабрика механического производства обуви Шарова)—капитал нам говорит: рабы вы мои! Или что-то в нас есть во всех, что-то такое, изрыгающее у хозяина потоки ругани: „скотины, дармоеды“?... Нет,—отвечают Счастливцев и Несчастливцев (завод Вестингауза),—не „рабы мы капитала. Мы вольные рабочие. И пусть для нас солнце светит, как для богачей“. „Ведь были времена другие,—добавляет сапожник,—когда мы заставляли относиться к нам, как к людям. Давайте-ж, вспомним, что мы тоже люди. Сбросим опорки и наденем сапоги. Стыдно нам, что мы для людей шьем, а сами ходим в опорках“. „Все это происходит лишь только потому—по мнению Анюты („Голос прислуги“)—что человек не хочет быть, как человек, а как раб. Мне хотелось бы одно сказать служащим: пора положить этому рабству конец“.

„Вспомним былые времена. Неужели их можно забыть?— сыплются восклицания.—Ведь только тот достоин звания человека, кто борется за него“ (мясник). „Пора, приказчики, понять, что вас считают не как людей, а как вьючных животных“. (Пгр. мануф. торговля Червякова). „Ведь время золотое настало“ (шоколадная фабрика Глория). „Надо заставить хозяев видеть в нас людей, полных сознания своего достоинства“ (Бондарь. Астрахань). „Печальнее всего видеть, когда человека не считают за человека, глумятся, издеваются над ним, а он молчит и не может произнести слова“ (Москва. Шерстоткацкая фабрика Михайлов и Сын). „Главное же“ (рабочий Д.), „уже пришло время, когда русский рабочий должен выходить из полускотского состояния, заявить капиталу, что он человек“, что „так дальше жить нельзя: раз мы допускаем издевательства над отдельной личностью, то мы роняем этим всех“ (типография Энергия).

Слушая эти восклицания, начинаешь понимать ту роль, какую играло „вежливое обращение“ в целом ряде стачек (фабр. Эриксон, зав. Крейтон, зав. Розенкранц в Пгр., зав. Шкловского в Елисаветграде и т. д.). Стачка—средство решительное, за которое можно ухватиться лишь в обстоятельствах крайних, исчерпав все другие пути. Если же причиной стачки все-таки оказывается первобытно-варварское обращение, доходящее до глумления, до растаптывания человеческой личности, то, очевидно, насколько это вопрос наболевший в и без того безрадостной, темной, полной лишений жизни пролетариата. В 1905—06 гг., как известно, отношение заметно стало лучше. Но с упадком общественной волны обращение со стороны работодателей, инженеров, мастеров, прочих сильных мира сего становилось с каждым годом грубее, оскорбительнее. Любопытные данные в этом направлении дает нам та графа отчетов фабричных инспекторов, которая носит название „дурное обращение и побои“. Как ни случайны эти данные, но даже из них мы узнаем, что случаи кулачных и иных расправ, напр., в 1907 г. в четыре раза превышали жалобы этого рода 1905 г., в 1908 г. свыше чем в десять раз и т. д. В одном Петрограде фабричная инспекция насчитала за 4 года—с 1905—08 гг.—3.702 жалобы рабочих на дурное обращение и побои, при чем и здесь—как везде—глумление практиковалось во всю с 1907 г. В этой-то борьбе с хозяйским глумлением и получила свое крещение нравственная личность рабочего.

„Мы теряем свою силу, портим свою кровь, наше зрение притупляется—пишет служащий „Компании Зингер“—и за всю эту тяжелую работу получать насмешки!“ „Гг. инженеры сами своим грубым обращением, безмерным глумлением

вызывают рабочих на отчаянные поступки“ (речь идет об убийстве инженера Борисова, управлявшего с 1910 г. нефтяными промыслами). „В годы безвременья, почуяв под собою твердую почву, гг. инженеры мстят нам за прежние „грехи“. Многие из них даже не скрывают этого; один из таких недавно заявил нам следующее: „было время, когда сила была на вашей стороне; теперь же она на нашей“. „Главное, это уж чересчур грубое обращение — заключает рабочий добрушской писчебумажной фабрики — оканчивается мордобитием“, и речь уже идет о защите человеческого права на физическую неприкосновенность. „Но кто виноват в этом! Сами рабочие. А почему?“ „Забывают свое человеческое достоинство и примеры других рабочих, которые тут же в Петрограде умеют отстоять свои человеческие права. Сами рабочие мало-по-малу привыкают ко всему. Спите, товарищи, спите,—каково-то вам будет просыпаться!“

Выставляя требование вежливого обращения, разнообразные слои рабочего класса—и рабочие крупных промышленных предприятий, и рабочие мастерских или таких заводов. как лесопильные,—добивались, чтобы не давали „в зубы“, „в морду“, не вспоминали всех близких и дальних родственников, „печенку и селезенку“, чтобы не подзывали к себе рабочего свистом (шелково-ткацкая мастерская Кондратьева), не „тыкали“. Конечно, „хозяин смотрит на нас не иначе, как с презрением, точно рабочие являются раззорителями хозяев, а не собирателями их богатств, а хозяева их благодетелями, которые дают им из милости заработок“, но „кем надо быть, чтобы смотреть так на людей“? Вот, напр., трубочный завод (Пгр.) прозван богадельней. „А для кого он богадельня? Если приложить это слово к рабочим—не подойдет, потому что в богадельне люди живут на покое. Рабочее же дело только знай работай и работай во все лопатки. Вернее всего слово „богадельня“ подходит для нашего великодушного начальства, которое, придя на завод,

пойдет по мастерским, заложа свои чистенькие ручки в карманы и всемилостивейше глядя на грязных, потных, замасленных рабочих“.

Уже здесь—при первом пробуждении чувства чести, чувства совести—резко выступает разница между отцами и детьми. „Старички“ это—рабочие, прослужившие 12—15 лет на одном месте. Это—обособленные, замкнутые группы, имеющие свои привиллегии. Разумеется, они боятся „политики“,—всяких запросов, стремлений. Живут прошлым, мечтают о собственном домике, говорят: прежде лучше жилось. И если влияние старички потеряли всякое, то нет средства, перед которым они останавливались бы для того, чтобы унизить молодежь. Хорошей иллюстрацией служит „открытое письмо“ рабочих-стариков директору-фабрики Т. Н. К. Л. М. в Костроме, в котором директор предупреждался о готовившейся забастовке молодежи. „Благодаря влиянию на нашей фабрике молодежи — писали они — извещение наше не достигло своей цели. И потому мы покорнейше просим вас, Владимир Алексеевич, снизойти к нашему некрасивому положению“ и... положить основание фонду на устройство дешевых квартир. Если начальство снизойдет, то они организуют на фабрике сопротивление молодежи. Разумеется, молодежь отвечает старичкам ненавистью. Она называет их „лизоблюдами“, „застарелыми хвостами“, „черными стариками“.

„Не надейтесь на наших старичков—убеждает кровельщик — они вечно выбивали свои лбы об хозяйские стенки“. Старым рабочим начальство говорит: вы у нас работаете по 20 лет — если кто кого смущает, вы привели бы того к нам“ (экипажная мастерская Мейзе). Это в глаза. А за глаза: „ведь это просто бараны. Вот я расставлю ноги и прикажу им ползти. И, поверьте, поползут“ (Тюмень. Чугунно-лит. зав. Машарова). Конечно, хозяин прав. „Из старичков уже труха сыплется“ (Рига. Завод Рихард Поле). Если они еще живы и в почете у начальства, то потому, что „зажившиеся ста-

рожилы без зазрения совести творят делишки, не свойственные ни совести, ни чести сколько-нибудь сознающего свое достоинство рабочего“ (чуг.-лит. зав. Сан-Галли). Вот, напр., ново-механическая мастерская Путиловского завода. „Старички в почете за их наушничество... Конечно, и насчет выпивки самые первые“. Или депо Киево-Воронежской жел. дор. в Курске. Перешел в христианскую веру начальник депо. „Собрать ему на икону“, кричат старики. Решили и собрали. „Вот она, стариковская покорная мудрость!“

Ну, что же, лучше стало вам? восклицала молодежь. „Старайся-старайся, старина, скоро за 25-летнюю службу получишь часы и 25 руб., но помни, что если ты заболеешь, то тебя вышвырнут, как негодный, высосанный лимон или старую ветошку“ (Русско-Балтийский вагонный завод).

Для оценки этой розни надо иметь в виду, что технически молодежь очень и очень зависит от старых рабочих. Показать „пробу“, одолжить нужный инструмент, направить, куда следует—это все дело старика. Не говоря уже о том, что, пользуясь своим положением, он, сплошь и рядом, портит работу новичка, прячет его инструменты и т. д. Тем не менее, молодежь держится резко, не давая спуску старикам. Роли везде переменились, и перемена ролей начинается уже на почве защиты элементарных прав. Вот, напр., юноша-рабочий Солунин, которого отец „по старинке“ „выводил в люди“: бил дома, бил в мастерской, пока не добил. „Отец, старый рабочий, всю жизнь чувствовавший на своей шкуре силу всяких кулаков, обратил свои родственные отцовские права в кулачное право,—сообщал корреспондент,—другого он не знал“. Но разве это нормально, разве „отец еще может, коли хочет распоряжаться, как вещью, как собственностью, своими детьми?“ Нет,—возмущался он,—„дороже достоинства человеческой личности нет ничего, а рабочие должны сберегать и в себе, и в других это достоинство. Рабочие должны громко провозгласить: долой побои и насилие как со стороны

хозяев и их приспешников, так и дома, в семейной жизни, в домашнем быту“ (Пгр. Завод Лангензипена).

Это сопоставление безличия фабричного и своего, домашнего, в семейном быту, характерно. Борьба с хозяйским глумлением,—сказал я,—яркое выражение роста личного достоинства рабочего, но едва ли не ярче обращение от мастера, старшего, хозяина к самому себе. Кто виноват в этом унижении?—спрашивают рабочие и отвечают: „Было бы болото, а лягушки наскачут“.

„Лягушки“ постоянно в избытке, благодаря малоземелью окружных деревень и приросту населения“ (бумажно-ткацкая фабрика Твер. губ.). „Лягушки“-то, не научившиеся ценить свое пролетарское достоинство, и поддерживают позорное иго безличия на фабрике. „Бытовые явления“, в виде надругательств над личностью, столько же вне рабочего, сколько в нем,—вот беда. Деревенщина еще не изжита. В новом еще деревенщина слышится, и трудно сказать рабочему, кто вернее питает эти бытовые „явления“—унижающие или сами униженные с привычками, в которых их рабство воспитало. Для рабочего ясно: он не может требовать от фабричных крепостников уважения к личности до тех пор, пока психология самого рабочего—первое препятствие для его осуществления. Между тем психология рабочего отсталых форм производства у нас еще жива.

Экономический подъем—надо иметь в виду—обозначает не только привлечение резервной рабочей армии, но и приток рабочих сил из деревни. Непосредственно перед войной этот подъем в промышленности совпал с голодом, не уступавшим по размерам 1891 г, и рабочие, то и дело, констатировали в своих корреспонденциях: „на заводе работают в большинстве крестьяне“. „Со времени своего перехода из крестьянского сословия в рабочий класс они еще не жили среди рабочих, воспитанных в понимании человеческих различий“. Новые предприятия создавали новые категории рабочих из

полукрестьян-полурабочих. Этот приток низших слоев пролетариата никогда еще не достигал у нас такой степени и по причинам не экономическим. Пережив события 1905—6 гг., капитал культурных рабочих боялся, как огня. „Господа-предприниматели и их прислужники—свидетельствовал рабочий зав. Клейнера (Таврич. губ.)—в сохранении такого положения рабочих очень заинтересованы. За благонадежных и людей хорошего поведения они считают не тех, кто хорошо исполняет работу". Рабочие уверяли, что почти повсеместно—где только позволял, конечно, характер производства—теперь норовили брать прямо из деревни рабочие силы, и первый вопрос, „как в деревне жил", а уже потом после низкого поклона: „выходи на работу".

Вот это-то нашествие чернорабочего, грубого, некультурного, безграмотного, столь бьющее в глаза по сравнению с 1905 г., и осложняло борьбу рабочего класса за его человеческое достоинство более, чем когда-либо. Вот как характеризуют „деревню" сами рабочие: „что ни на есть рванье, оно не спросит много—за то можно этому рванью и в рыло дать" (лаковый завод Кинг), „еще живут под влиянием своих крестьянских чувств", „жалуются, не сознавая, что если им и есть на что жаловаться, так это только на то, что они сами жалки" (Донецко-Юрьевский металлургич. завод Екатерин. губ.). Это они не обижаются, когда им дают „на водку"; это они устраивают „встречи", „проводы", „юбилеи" в то время, когда им говорят: „морда твоя мне не нравится", приезжают с корзинкой из деревни, в которой визжит „поросенок" или копошатся раки „для мастера": „нельзя не ублаготворить", „кого полюбит, тому и шубу купит". Это они „низкопоклонничают", „холопствуют", подносят фотографии „благодетелям рода человеческого на долгую позорную для рабочих память", зачастую же презирающим „этих пьяных скотов", вносят раскол в массу рабочих, виляя хвостом перед мастером, выставляя из своей среды „любимчиков", „наушников", „искачей", „поотдаленных", работающих „ушком" и „язычком". Но не одни „шерлоковские должности" заполнены рабочими и работницами низкого разбора. Ведь и от водки „происходит вся дурная сторона жизни, принижение человека до уровня скота"; „рабы же зеленой вывески", по преимуществу, все те же некультурные деревенские рабочие, которыми стремятся заменить рабочую демократию на фабрике. Это они „ищут счастья на зеленом лугу", вступают в „пьяные партии", „кабацкие союзы", с средневековым обычаем опивания и засидок, словом, „пропивают человеческое достоинство". Конечно, до штрейкбрехерства, проституции, воровства—всех уродливых форм, какие принимает отсутствие человеческого достоинства под давлением собственного ничтожества—отсюда рукой подать.

И любопытно пробуждение всех сразу вопросов чести и совести,—задач утвердить права человека в рабочей среде, вопреки попыткам сверху убить их в основе. Город по своему преображает новые рабочие кадры, и процесс шел вглубь уже с давних пор, как он ни осложнен был болезненными явлениями, как ни неровен был. Время до „человека" кончилось и, как ни проникнуты личные, семейные, заводские отношения отрицанием и физической, и душевной неприкосновенности личности, „человек"—это понятие, которое кричало и кричит о себе на каждом шагу. И прямо светло становится на душе, когда наблюдаешь, как эта дорога к сознанию прав рабочего человека расчищается и расчищается и—на-ряду с привычками, унаследованными от прошлого—все-таки встают во весь рост вопросы личности.

Это уже не Сидор Коробков, который примирялся на малом: „извивайся, коли так, перед высшими, ползай, да изловчайся же сказать и свое" [1]). Раз рабочий сознал свое человеческое достоинство, это уже не заячья совесть, не заячья

[1]) Гл. Успенский. „Собрание сочинений", т. III, стр. 100, „Заячья совесть".

честь мещанина. Даже на первой стадии, где еще резких проявлений сознательности нет, он не робок, не половинчат, а смел и категоричен.

Чувство чести—сознание собственного ничтожества—и чувство совести, уважение личности чужой—в рабочей среде, конечно, так же неразрывны, как в мещанской, но подходят совсем по разному к ним здесь и там. Наша совесть—писал Н. К. Михайловский в свое время—„говорит нам, что мы виноваты перед народом, на счет которого мы живем"; наша честь, „что и перед нами виноваты те, которые нас ежечасно, ежеминутно оскорбляют". Совсем иначе рассуждают рабочие. Если они обвиняют кого-либо, то лишь себя и перед собой.

„Директор—рассказывает рабочий экипажной фабрики Брейтгам—подарил товарищу предназначавшуюся старьевщику шляпу-котелок. Не разгибает спины, вишь, как прежде, зато у него теперь директорский котелок-шляпа, в которой он может щеголять по трактирам и портерным... Стыдно, товарищ, продавать человеческое достоинство за директорскую шляпу. Ведь мы тоже люди". „Так-как—добавляет штукарь—только-б хозяина не сердить, только работай, чтобы хватало ему на лошадей да шампанское да малую пользу в запас оставить"—вот как старики, которые „готовы для начальства последние сапоги с ног снять" (Путиловский завод) или „пришлецы из глухих деревень, от которых нередко можно слышать: мы приехали не грубить, а деньгу зашибать" (Мокеевка. Область Войска Донского).

„Нет-с—сыплются голоса—надоело рабочим терпеть унижение" (Москва. Типогр. Чичерина), „лакействовать перед грубой силой" (Акцион. об-во писчебум. фабр-и. Пгр.), „ходить перед администрацией на задних лапках, как цирковым животным" (Невская писчебум. фабр-а). „Стыдно за тех рабочих, которые продолжают верить, что унижением можно улучшить свое положение" (Елисаветград. Завод Эльворта). „Подумайте сами, за право на свой труд отдаете и душу на поругание".

Вот, напр., столярно-мебельная фабрика Тарасова; по случаю новоселья здесь поднесли рабочие хозяину блюдо. Правда, „для пущей важности администрация бросила несколько рублей в рабочих", но хозяин сам „побрезговал дотронуться до блюда; он даже не захотел рюмку с рабочими выпить за рабочее здоровье, будто говоря: „пейте без меня за мое здоровье, а я уж за ваше примусь потом..." Или—фабрика Каретниковых в Тейкове, Владим. губ. „Вот мы пригласили фотографа и, усадив администрацию, окружили ее кольцом, а некоторые даже легли и сели у нее в ногах—так сфотографировались. А стоит только повнимательнее посмотреть на отпечаток, и будет видно, что администрация и тут во время заигрывания смеется над нашим холопским низкопоклонничеством". Дело, конечно, не в гримасах. „Худой ли, хороший ли мастер—следует рабочим помнить, что для рабочих, сознающих свое достоинство, всякие подношения недопустимы" (зав. Лангензипена). „Какими бы глазами смотрели друг на друга подносители, если бы Г. им сказал: „господа, я не интендант". Тоже о подачках, которые выкидывают рабочим в праздники. Пусть старички „готовы разорваться за первый двугривенный крахмального воротничка", рабочие же, „полные сознания своего достоинства", должны сказать, что они работают „не из милости", „нужно человеческое существование" (Донецко-Юрьев. зав. Екатерин. губ.).

Ведь от „гнусной процедуры" подачек, от просьб о помиловании один шаг до кляуз, до наушничества. „Старая история, а всегда новая".—Жалуется рабочий вагонных мастерских Ник. ж. д.—„Суют нос, где не спрашивают", „вертят языком, как худым помелом",—„не можем их иначе назвать, как язычниками". „С болью в сердце" констатирует это „нравственное падение" мастеровой Сев.-Зап. жел. дор. „Мы дождались того, что сам начальник участка повесил следующее объявление: „подтверждая приказ 1910 г. и т. д., объявляю, что по анонимным письмам никаких расследований

производиться не будет". Если само начальство спешит обуздать добровольных доносчиков, то можете себе представить, как велико их число". Что же—восклицает сапожник—„или нам всего этого не стыдно, или стыд глаза не ест"... „Любы они, оборотни, по вкусу пришлись нашей администрации, как зеницу ока оберегающей их от дурной рабочей сплетни".— „Продолжайте же, продолжайте, товарищи, в этом духе—тогда, по крайней мере, сядут на нас и поедут" (фабр. Воронина. Птб.), как-то „не верится в отупение ваших лучших чувств" (Донецко-Юрьев. металл. завод).

Образчиком этого отупения является в их глазах поступок, который—„в погоне за богатыми поминками"—позволили себе рабочие, обслуживающие газету „Новое Время". Помер редактор-издатель „Нового Времени" Суворин,—пишет группа рабочих,—человек, о котором у рабочего двух мнений быть не должно, ибо он был прежде всего „эксплоататор и явный недруг рабочих, трудами которых он нажил свои 3 миллиона. Между тем мы видим очень близкое участие этих самых же рабочих в пышных похоронах Суворина, со всею помпой в виде речей, венков, слезливых благодарностей, даже поминального стихотворения и т. п. рабских излияний „почившему благодетелю". Что это? Было ли такое „участие" рабочих подстроено заинтересованными личностями или же рабочие шли на похороны по своему собственному почину,— нам, в сущности, все равно. Для нас важен тот факт, что эти рабочие наложили своим поступком на себя пятно очень некрасивое—пятно жалкого хамства".

Чувства, обуревающие рабочего против тех, кто его „ежечасно, ежеминутно оскорбляет", не отличаются „широтой". „Субъективного" содержания они в них не вкладывают. Мерило оценки личности здесь объективное: рабочий, как бы над ним ни издевались, ни на минуту не сомневается, что иначе и быть не может, раз все связи, все взаимные отношения на фабрике таковы, что „моему нраву не препятствуй".

Социальный инстинкт дает себя знать уже на первой стадии перерождения чувств, и пролетарий говорит себе: капитал опоганил самое звание человека? И будет поганить до тех пор, пока сам не станешь человеком из раба, сам не утвердишь права живой личности на фабрике. Моральный мостик здесь не перекинешь, ибо честь у заводского „буржуя" своя, и топчет он рабочего „человека", исходя, в свою очередь, из нее.

Вопросы чести в рабочей среде не исчерпываются подхалимством или наушничеством. Они тем примитивнее, чем глубже стихия деревенщины, которой не брезгуют и современные в техническом отношении предприятия. Печальное наследство крепостного прошлого выплывает на поверхность и — пока личное достоинство не сделается достоянием этих масс—дают себя знать в грубых, диких расправах, сохранившихся у нас на Руси от седой старины, в штрейкбрехерстве, в воровстве, в уродствах пьянства. И все это задевает за живое душу рабочего, испытавшего на себе влияние города. Все волнует, бьет в нос своей насущностью.

Обыск, напр., сам по себе возмущает его. „Ничто так не принижает чувства человеческого достоинства—пишет наборщик типографии Сойкина—как существующая в типографиях практика обысков". „Администрация мастерских умывает руки, она чиста, рабочие—воры, они пьянствуют, они и воруют" — вот взгляд прислужников капитала. Но еще того больше волнует действительный факт воровства. „В семье не без урода,—читаем мы.—Такие уроды, к сожалению, есть и в рабочей среде. Своим поведением они вызывают на лицах своих товарищей по тяжелым условиям жизни краску стыда и негодования". „Горько, до боли горько слушать рассказы рабочих о том, как на фабрике Лютш и Чешер были при выходе задержаны и переданы полиции 10 рабочих и 4 работницы, пойманные с ситцем. Это происшествие было каплей яда". Только „уроды" думают помочь себе „кражей лоскутьев

ситца“ или „кражей гарного и плантольного масла“ (маслобойный зав. Жукова). „К такому способу могут прибегать разве рабочие, лишенные чувства человеческого достоинства унижениями со стороны администрации“. Вот, напр., Гельсингфорский порт, где у чернорабочего Н.—известного „язычника“—нашли несколько кусков металла. „Из-за одного прохвоста приходится унижаться всем рабочим порта“. И—непримиримый враг воровства,—этого следствия приниженности рабочих, — автор пишет: „перед нами стоит задача вести упорную борьбу с подобными фабричными кражами, развращающими массу. Борцом за рабочее право может быть только честный, сознающий свое человеческое достоинство рабочий“.

Горячую отповедь вызывает и драка. После того как огромная толпа рабочих Путиловского завода „вступила в бой“ с вызванными ими рабочими других заводов, рабочий-корреспондент пишет: „не хочется верить, что „дрались на кулачках“ рабочие Путиловского завода. Когда-то еще в XVI веке для потехи князей и бояр устраивались кулачные бои“. Другой случай (в типографии Яблонского рабочие мастера поколотили) вызывает следующие строчки: „и это проделали рабочие, которых можно было бы назвать сознательными. Стыдно, товарищи, стыдно прибегать к подобным приемам, когда есть много других способов воздействия, способов более верных, чем кулачная расправа из-за угла, которая начинает у нас свивать себе прочное гнездо“. „Братья, строители-рабочие, — взывает плотник, — не забывайте, что раздор и рознь, происходящие между нами, выгодны лишь только нашим поработителям, а грубые дикие расправы позорят нас самих, как первобытных дикарей, неспособных разобраться в недоразумениях по совести. Позорно и стыдно враждовать между собой в то время, как пауки посылают нас на леса, построенные из гнилья, и ежеминутно меняют, как барышник лошадей на конной“ (постройка инженера Барреша).

Конечно, рабочие понимают, что есть профессии, в которых не унижать себя трудно. „Приказчик, читаем мы, лжет из страха перед расчетом, так как стоит ему хотя бы один день перестать лгать, как хозяин его немедленно рассчитает и лишит, таким образом, куска хлеба, в котором и заключается вся выгода его лжи“. Вот, напр., торговля Соколова на Обводном канале (съестные припасы): „г. Соколов требует, чтобы подручные приказчики и мальчики как можно больше и лучше обвешивали бы своих покупателей. А так как покупатель преимущественно рабочий, то естественно происходит не мало конфликтов между „отцами“ и „детьми“. Или как не брать унизительные подачки, которые адресаты дают рассыльным“? Ведь они почти жалованья не получают. „Знайте же,—оправдывается рассыльный,—мы берем праздничные не для того, чтобы платить по 100 руб. за бутылку шампанского и проводить время в ресторанах в обществе „крашеных девиц“, а только для того, чтобы на собранные деньги накормить голодных ребятишек и одеть полунагую жену, а холостые, чтобы послать несколько рублишек голодному безземельному отцу или матери“. Все это известно нашим обличителям, но на это они отвечают: вот-вот, тонкий прутик легко переломить, но свяжите их вместе, как веник, и потребуется много времени и сил, чтобы это сделать. Если же „около трактирных столиков сплачиваться“, „на зеленом лугу“, „в монопольках“ вспоминать о „человеческом обличьи“, то унижение еще того неизбежнее.

Трудно указать область, к которой рабочие так часто обращают свои взоры, как эта „монополька“ прежде, а потом ханжа и прочие суррогаты. О чем бы ни начинали говорить, нельзя не упомянуть казенку. Подхалимство, наушничество, воровство, кулачная расправа—все это, оказывается, получает поддержку на „зеленом лугу“, и если пьянство не есть мать всех пороков на рабочем языке, то во всяком случае мать всех унижений.

На этой ступени рабочие не понимают еще корней своей социальной болезни, отражающей глубину великих противоречий капиталистического строя, ее неизбежность. Но все-ж таки инстинктивно их нащупывают. „Свою нелегкую участь— пишет рабочий охтенского лесопильного завода—гнетущую тоску от постоянного недоедания заливаем вином-зельем". „Прибегаем к нему, как к какому-то живому источнику, от которого ждем утешения в горе и умиления в радости". „Посидите-ка 10, 12, а то и больше часов ежедневно за мелкой кропотливой работой,—жалуется ретушер,—вас потянет после этого освежиться, но куда? Разумеется, в пивную— больше некуда!"

Однако, как ни вгоняет фабричный труд рабочего в пьянство—„молодое поколение" ни в каком случае, по мнению рабочего Иконникова, автора статьи „Мысли о пьянстве"— „не должно наследовать это зло". В самом деле, число пивных до войны росло, главным образом, в рабочих кварталах, и кто же нередко пооткрывал эти пивные? Сами же рабочие. Вот, напр., в Елисаветграде. Днем в пивной „дежурит" жена, а вечером сам рабочий приводит с завода товарищей, друзей и знакомых и охотно продает им пиво и другой алкоголь в кредит, будучи уверен, что долги не пропадут. „Хорошо ли это, красиво ли?" „Гнусно". „Еще гнуснее „обчищать" вновь поступающего" (гвоздильный завод). „До тех пор и будут плевать в нас, пока не перестанем свои свободные минуты проводить в пьянстве". „Чем больше желаем в водке найти утешение и радостное чувство, тем сильнее, беспредельнее море унижения" (колбасная фабрика Сорокина). „Не трактир, не пивная должны служить местом, где мы делили бы друг с другом радость и горе", как и не учреждения „милых господ". „Есть у нас общество трезвости—сообщает Иконников—оно нам не поможет сбросить это зло. Мы, рабочие, не можем ни откуда ждать помощи, должны сами развивать в себе человеческое достоинство".

Было бы долго перечислять те проявления, в которых рабочий бичует свое личное ничтожество. Это его первое личное дело, первая личная проба, и нет уголка индивидуального, семейного, заводского, в котором бы не сказывалась эта личная опрятность. Индивидуальное положение, личная судьба здесь не имеют значения. Кто, кажется, не поносил трактирного слугу; какой моралист, какой публицист старого времени не выделял Николая Чикильдеева? Между тем было бы грех сказать, что голос официанта в этом хоре звучит слабее других. Мусорщик, прачка, дворник, извозчик, горничная— в жизни, как в картине, резких переходов нет, и, если разница дает себя знать, то лишь арифметически. В одном— чувство личности острее, в другом—слабее, но общественный смысл и в том и другом случае один и тот же: побеждает высший тип человеческой личности, и преобладание стихии— преобладание временное.

Но развитие личности не исчерпывается вопросами чести, личного достоинства в узком смысле слова. Развитие личности—процесс двусторонний: кроме достоинства собственного, есть еще достоинство других людей. Требовать уважения к себе—значит уважать и чужую личность. И вопросы чести всегда, конечно, переплетены с вопросами совести в элементарном смысле слова. Гл. Успенский в нетленных образах показал нам это по отношению к мещанству. То же, разумеется, в чертах иных видим мы в рабочей среде. Вопросы чести и совести и здесь связаны так, что не всегда их размежевать можно, хотя первые—примитивнее, вторые—сложнее. Возьмите штрейкбрехера.

Это—предатель товарищеских интересов. Понятно, какие размеры штрейкбрехерство может принять в условиях фабричного подхалимства, как может деморализовать рабочую среду. Но—на-ряду с товарищеским осуждением, с бойкотом,—и голос личности делает свое дело. В редком номере рабочей прессы не наталкиваетесь на показания такого рода: „я,

нижеподписавшийся, станковый печатник Павлов, приношу свое чистосердечное раскаяние перед вами, товарищами, в том что во время забастовки у Шварца я по своему малосознанию нарушил рабочие интересы и был штрейкбрехером. Сознавая свою вину, прошу простить мне мой поступок. Чистосердечно подтверждаю, что впредь этого не будет". Или: „столяры василеостровского парка, а также все мастеровые. Как вам известно, я, Иван Миляев, был штрейкбрехером. Прошу меня за этот поступок штрейкбрехером не считать. Я им быть больше не хочу. И даю слово таких поступков не делать. При сем жертвую" и т. д. Следуют ссылки на бессознательность, на темноту. Если в иных случаях они неискренни, то, бесспорно, в большинстве случаев перед нами голоса рабочей совести. Ведь—помимо старичков—штрейкбрехеры все те же „забитые люди" деревни, которые первые попытки стать „человеком" делают на фабрике. Но где тут элемент чести, где элемент совести? Тонким ножем не проведешь эту грань, и таких уголков в процессе освобождения личности рабочего человека не мало.

Голоса совести в рабочей среде были характерны особенно после того, как только что еще отошла в прошлое полоса упадка и деморализации, под покровом коих так расцвели жесткие формы рабочего индивидуализма — „компании", эксплоатация одних рабочих другими, насилия над нравственной личностью работницы-конкурентки и пр. Расчеты оставляли за воротами фабрик и заводов тысячи безработных, голодающих, и — страшный бич в обстановке безвременья — конкуренция давала себя знать и не такими еще моральными уродствами, как подхалимство, наушничество, пьянство. Недаром эпоха подъема, наступающая обычно в атмосфере таких бытовых явлений, вначале является, поистине, эпохой „совестливости": взоры сытого устремлены в сторону голодного, работающего в сторону безработного. Рабочий, то и дело, открывает сферы, в которых он топчет интересы своего же брата-рабочего, то и дело бичует свой эгоизм, свою „подлость".

„При выходе из фабрики — пишет рабочий телефонной фабрики Эриксон и К°—мы постоянно встречаем выброшенных рабочих, во взгляде которых читаешь упрек нашему равнодушию, нашей бесчувственности. Нам до них дела нет: мы сегодня работаем и сыты — так какое дело до их страданий нам!"

„Очень печально сообщать такие факты, — признается другой (паровозо-механ. маст. Путилов. зав.), — но еще печальнее умалчивать о них. Рабочий эксплоатирует рабочего". На трубочном заводе (Пгр.) одни рабочие „подставляют ножку другим ради своих интересов". В Ростове-на-Дону среди рабочих акционерного общества печатного и издательского дела „Приазовский Край" „распространено даже ростовщичество: есть вполне организованная группа лиц из рабочих, которая выдает ссуды рабочим под %%". Процветает ростовщичество и другого типа: несколько рабочих организовали „комиссионное дело", здесь же в типографии выдают ордера в магазины платья, обуви и пр. для приобретения в рассрочку вещей, „взимая 5% с рабочего и 10% с магазинов". Таким образом, рабочие „из рабочего же выжимают 15% сверх стоимости приобретенных вещей". Конечно, „для такого стада рабочих и кнута не нужно—сами себя высекут, — восклицает корреспондент, — хорошо только старшим живется: сыты, пьяны и нос у них в табаке". Своего рода ростовщичество „компании", работающие как бы на себя, или „сверхурочные". „Главный вред компаний в том—по мнению наборщика типографии — что в них процветает эксплоатация одних рабочих другими". Что бы „компанейцы" ни говорили о своих товарищеских началах, они — группа привиллегированная, „работающая при лучших условиях", чем „остальные рабочие", которые от этого страдают. Еще бессовестнее — „экстра". С виду, что и говорить, — „посмотрите хоть наших электриков и слесарей,— жаль их: это тоже угодники божьи, которые всю жизнь, как говорят, проводят в труде: когда у них и душа спокойна"

(Донецкий бассейн. Рудник Парамонова), и „администрации выгодно, чтобы рабочие по вечерам после работы имели меньше свободного времени“ (шокол. фабр. Миньон). Но так только с виду—на самом деле, во-первых, „зажаривать экстру заставляет алкоголь: прогуляет первые дни в неделе, а потом догоняет“ (Балтийский зав.). Во-вторых, на том же, напр., Балтийском заводе „вот уже год, как наносится этим громадный вред своим товарищам безработным, отнимается у них кусок хлеба“. „Если мы не будем работать по трое суток, то на руднике (Парамонова в Ростове), наверное, работа найдется и для безработных“. Вот где гвоздь: „позабыли о безработных“ (Москва. Типо-литография Машистова), не говоря о собственном вреде. Раз уж вследствие „экстры“ за бортом фабрики остается такое количество безработных, раз мы товарищей своих лишаем куска хлеба, то „почему же—пишет рудничный рабочий—нам не крикнуть своим мучительным голосом, всем сразу, рудничной администрации, что нам тяжело и что нам не под силу работать по трое суток. Как нам не стыдно тех товарищей...“

Если у мещанина своя честь, у пролетария—своя, то и совесть—понятие социальное. Уже на первой стадии развития видите здесь протест против индивидуалистической морали, ее мерок „труда“ („угодники божьи“), „товарищества“ и т. д.

„Экстра“ или „компания“ „безнравственнее“, тем более, что, пользуясь ими, администрация фабричная „выбрасывает за ворота именно городских рабочих, как неспокойный элемент, и заменяет свежими силами, пришедшими из деревень, еще неприспособленными—по выражению резинщика—защищать свое достоинство“ (Риж. резиновый завод „Проводник“). Перед этим отступает на задний план истощение собственных сил, и на сцену выступает вопрос: чем помочь оставшимся за воротами?

„Вместо того, чтоб спорить целыми вечерами в портерных разных Гороховых, Голосовских и т. д. да оставлять там

полтиннички и рубли каждый день—слышали вы еще до войны—не лучше ли подумать о семьях безработных и устроить в пользу их хотя какой-нибудь сбор, чтобы им не сидеть голодными“. И, действительно, шли сборы, сборы, сборы. Собирали на стачечников, арестованных, на нуждающихся товарищей, на голодающих. Рабочие газеты открыли даже особый отдел „рабочая взаимопомощь“, в котором ежедневно регистрировалась эта своего рода горячка, охватившая рабочие массы. Но опять-таки нельзя не отметить тут же: это не мещанская благотворительность. Сытые благотворители в их глазах из дней „колоса ржи“ или „синего цветка“ устраивали забаву. Рабочие решительно не могут видеть в расфуфыренных сборщицах, свободно входящих в трамваи, встречающих всюду содействие со стороны полиции и администрации, защитниц голодающих, безработных. Не успеют расклеить объявления о подобном сборе, как рабочие уже шумят: „куда, кто собирает? дойдут ли собранные деньги по назначению?“ „Были у нас общие сборы посредством продавания цветков: „белых“, „колоса ржи“, „синих“—сообщает рабочий франко-русского завода—но, несмотря на принятые меры, рабочие трубопрокатной мастерской и сборной цветы не покупали. Все эти сборы—дело хорошее, нужное. Но организации эти пользуются покровительством высшей аристократии, и искренность у них, большей частью, отсутствует“. „Безработным, ссыльным сборы не разрешают“.

По мнению рабочих, на каждой фабрике должен быть организован сбор, который минует „руки благотворительниц“. Отказал же в свое время сенатор Иванов группе рабочих, пожелавших принять участие в распределении сборов „колоса ржи“. И рабочие должны точно также сами собирать и сами же распределять, помимо людей, которым понадобилось развлечение.

Образчик внимания к нравственной личности ближнего своего и отношение к женщине. Ведь если глумление над рабочим в России было „каторжное“, то положение работниц

было еще того унизительнее. Вот как они сами писали о себе, „На девушек смотрят, как на живой товар,—жалуется махорочница,—и опозоренных выгоняют на улицу торговать собой. И нигде нас не любят. По улице ли идешь, дома сидишь—одна кличка—махорочница. Тяжело жить на свете, рабочие“. „Раз попав в руки старшего, девушка уже сама обрекает себя на путь падения“ (механ. фабр. „Скороход“). Не „стыдно ли—по словам „работницы“—мужчинам ходить по трактирам и, придя на фабрику, говорить работницам непристойные слова!“ „Пора бы, кажется,—поддакивает прачка Александра (Киев, прачечная „Русалка“)—додуматься до того, что мы тоже люди, тоже хотим жить“.

И рабочие не остаются в долгу. „Пожалуй, и стыдно мужчинам, которые жалуются на отсталость женщин, считая ее своей конкуренткой“ (маст. Бризак, Пгр.) — читаем мы. То же „крепостное право: каждый мастер может оскорбить девицу да глумиться над ней“ (фабрика обуви. Пгр.). „Невольная улыбка, надтреснутый смех от нехорошей жизни—описывает рабочий белых рабынь чайных—лишь бы угодить гостю и получить на чай. Идут пить чай гости, чтобы вволю посмеяться и оскорбить лишь потому, что они переносят все, а не знают, что смеются над сестрой брата-рабочего, которая из-за куска хлеба пошла в люди“.

„Не дело рабочих-мужчин ставить рогатки и унижать женщину-работницу“. Атмосфера, окружающая работниц, и без того насыщена ядовитыми парами площадной ругани, цинизма, глупых предложений. Это атмосфера нравственного удушья, которая одинаково топчет и личность рабочего, и личность работницы. Вот, напр., Сампсониевская мануфактура, вербующая рабочие силы „в глубине забитых углов русской голодной деревеньки“. Она пришла к заключению в ноябре прошлого года, что город оказывает более тлетворное действие на девушек-подростков, чем на мальчиков. И выписала мальчиков. „Но, наверное,—замечает корреспондент—завтра же

в глазах администрации забегают красные мальчики, как некогда в ноябре бегали красные девушки“. И наоборот, ибо брезжит день рабочего „человека“.

„Бесчеловечная“ действительность отошла в область прошлого, и элементы, необходимые для создания „человека“, покоряют и некультурную деревенщину. Достаточно маленькой возможности жить по человечески, которую как-ни-как, а все-таки предоставляет ей фабрика, чтобы вопросы чести и совести, хотя бы в самой элементарной форме, проснулись в пролетарской душе, медленно, но неуклонно преображая ее. Перебирая приведенный мною материал,—я думаю,—едва ли не обратишь внимания на одну черту в проявлениях „личности“ рабочего: действенность. Это не рассуждение мещанина о том, что нужно личности вообще в противуположность личности его, заячьей. Это не мещанин Гл. Успенского, который говорил: „Уж душу свою я соблюду... Буду вот сидеть под кустом да рыбу ловить, ничего мне не нужно“. Или: „все соблюди, под козырек сделай и ножкой шаркни да свое-то слово вверни, — если ты человек с совестью“... Этой двойственности в рабочем человеке нет. Душевный процесс его активен. Раз голос личности в рабочем заговорил, он не может ни сидеть под кустом, ни шаркать ножкой, ни ограничиваться словом. Перед нами — еще задолго до организованных форм сознательного движения—миллионы рабочих драм, весьма красочных по своему, хотя и не укладывающихся в определенные русла. Промышленный подъем,—как мы видели,—осложняет раннюю форму пробуждения рабочего человека, с одной стороны, политика прислужников капитала—с другой. Но в жизни, как в картине, скачков нет. Не абсолютными величинами подвигается масса вперед. Сила процесса динамическая: высшие слои пролетариата поднимают духовно низшие, отсталые слои к своему уровню, и активен процесс вдвойне. Вопросы чести и совести—первые мостки, на которых пролетарий пожимает руку полупролетарию, открывая перед ним даль рабочего целого.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
1905-ЫЙ ГОД

I.

Год расстрелов, год виселиц....

Если бы нужно было в двух словах охарактеризовать действительные, а не бумажные события, центр, около которого события вертелись в этом году, мы сказали бы: таким центром был рабочий класс, и передать самое главное из того, что было пережито, значит рассказать, как и за что боролась рабочая интеллигенция.

Рабочее движение в 1905 году перешло из тесных рамок кружков в широкое русло народной организации, стало массовым, приняло активный, резко выраженный характер. Это признали, даже либералы тех дней. Правда, день 9 января представлялся им каким-то deux ex machina. Дело в том, что либералы, в конце концов, не удовлетворенные обещаниями князя Святополка, как раз в то время „решительно" заговорили о необходимости „реформ". Банкеты за банкетами, резолюции за резолюциями—некоторое время за этими банкетами и резолюциями рабочего класса совсем не слышно стало либералам. В то время, как в середине декабря, по постановлению рабочей социал-демократической организации, бастуют десятки тысяч рабочих на нефтяных промыслах вокруг Баку (начавшееся со стачки против хозяев, движение вылилось в огромные политические собрания на открытом воздухе); в то

время, как в Польше рабочие устраивают целый ряд демонстраций против войны, отстреливаются от казаков и полиции, несут каждый раз потери убитыми и ранеными; в то время, как гром пушек на Дальнем Востоке поднимает и серяка, который еще мало думал о политике (а кого не поднял гром пушек, поднимает вызванная войной безработица); словом, в то время как волна рабочего недовольства, может быть еще бессознательного, еще неосмысленного, передается мало-помалу с завода на завод, с фабрики на фабрику.... либералы только и делают, что доказывают свое „уменье отрешаться от узкой точки зрения повседневных, дробных, местных польз и нужд". Не до рабочего было.... Право, многие сцены, разыгравшиеся на юге и Кавказе в знаменитые июльские дни, еще до 1905 года, мало чем отличались от того, что в январе происходило в Петербурге. В Киеве у вокзала на угрозу стрелять распахивались груди с криком: „Стреляй!" ... Бастовали, как один человек, все рабочие, начиная с наилучше обставленных профессий до самых низших чернорабочих.

Стояли пароходы, задерживались поезда и конки, остановились постройки, не стало хлеба, не стало мяса, не стало воды.... Но до этого ли всего было нашим либералам, когда „из земских сфер — как выразился в то время Кузьмин-Караваев — выходила первая формулировка жгучих потребностей переживаемого момента?" ... Движение 9 января и оказалось неожиданным для тех, кому даны очи, чтобы не видеть... Это, во-первых. Но слабость либеральной оппозиции еще не в том, что она объясняла дело сверху вниз. „Слабость" ее — это прямое непризнание, точнее сказать, игнорирование основной группы, все более и более овладевавшей движением — рабочей интеллигенцией России. Между тем, если бы те же наши марксисты из „Нашей Жизни" потрудились взглянуть с этой точки зрения, они бы, может быть, не с таким легким сердцем превозносили адреса и петиции либерально-земского свойства.

С этой точки зрения и нужно оглянуть 1905 г., разобраться.

Как мы уже говорили, бодрый, уверенный голос рабочей интеллигенции не впервые прозвучал в 1905 году. Рабочий интеллигент входит в обиход русской жизни с самого начала девяностых годов, не говоря уже об отдельных проявлениях более раннего характера, и это уже тогда сказалось на смене так называемого „политического преступника". „Раньше все студентов возил, и понятно, за что брали, заговорили тюремщики, а теперь все мужик пошел, теперь времена не те, все изменилось". Явление это — рост нашей рабочей интеллигенции — настолько стихийно уже давало себя знать, что о нем стали говорить еще десять лет тому назад и попы, и помещики... „Рабочие бунтуют — заметил одному наблюдателю такой поп после большой Петербургской стачки 1896 года.— Это не то, что ваш брат-интеллигент". С вами расправа коротка: выслать вас вот в какую-либо северную деревушку — и крамола долой, — а что поделать нашему „бедному правительству" с рабочим, который прет, как лавина"?—Так рассудил попик, читавший комаровский „Свет", бывший по своему „политиком". Несколько иначе отнесся к бунтам помещик. Он взглянул, можно сказать, с народнической точки зрения: „Вот видите: я же вам говорил, что в бунтах виноваты городские рабочие, а не мужики. Не было рабочих, и было у нас тихо и патриархально, а как только их духом здесь запахло, и бунт готов"..... Так еще в девяностые годы не стало обывателя, который бы не заметил, что „рабочий пошел". „Тот да не тот, обличием как будто и тот, а нутро нам мало известно"... Конечно, в девяностые годы рабочая интеллигенция России являлась еще кружком; около нее не концентрировались еще массы.

Бурный 1905-ый год тем и интересен, что рабочая интеллигенция выступила впервые не во имя, а во главе пролетариата, что рабочее движение стало массовым не в смысле

простого количества охваченных им сил, а в том, что оно всей массой, как класс, стало следовать за своим авангардом. Пробуждение массы, участвуя в каждом крупном акте политической жизни, сталкиваясь на практике с самыми различными общественными течениями, стало закладывать шаг за шагом фундамент самостоятельной классовой партии, самостоятельной классовой политики. Рабочий интеллигент еще весь в политике.

Обратимся к фактам.

II.

Начнем с „Общества русских рабочих“ и его организатора—священника Гапона. Характерна даже самая история этого „Общества“.

Оно возникло после неудач с зубатовскими обществами в Москве, Минске и Одессе, когда твердая власть, не найдя противоядия от социализма, решила вовсе отказаться от политики, направить все движение на „чисто экономический“ путь. Действительно, что-то вроде „чисто экономического“ пути при покойном Плеве создалось. Но только Плеве погиб, только его место занял „мягкосердечный“ князь, рабочие самого разнообразного склада хлынули в „Общество русских рабочих“. Правда, массовик, внесший свою атмосферу в образовавшиеся одиннадцать отделов, едва ли еще сам сознавал, насколько далеко он начинает удаляться от того пути, на который их благословляла твердая власть, но о дальнейшем и позаботилась, поскольку это было в ее силах, молодая рабочая интеллигенция, которая в решительный момент приняла деятельное участие в событиях.

Конечно, как и всегда, та же власть, так сказать, закруглила то, с чем пришел в „Общество“ мыслящий пролетарий.

Правительство явно считало Георгия Гапона своим агентом и, хотя и посылало на собрания сперва переодетых, а потом форменных полицейских, но со стороны последних не

делалось решительно никакой попытки воспрепятствовать распространяющемуся движению. На путиловском и некоторых других заводах низшие полицейские чины даже открыто выражали рабочим свое сочувствие. В свою очередь, сам Гапон был уверен, что движение рабочих должно покоиться на чисто-экономических основаниях, старательно избегая какой-бы то ни было политической окраски. Однако, передняя градоначальника очень скоро осветила гапоновцам, что такое „чисто экономические основания“.

„Товарищи, мы начали экономическую стачку—восклицает уже Гапон в начале января—для того чтобы, действуя мирно, законным путем достигнуть удовлетворения своих справедливых требований. Но до сих пор мы достигли только того, что депутаты наши четыре часа простояли в передней градоначальника и, в конце концов, должны были убедиться, что от бюрократического правительства нам нечего ожидать помощи в борьбе с эксплоататорами-предпринимателями. Отсюда ясно, что мы не можем дольше оставаться верными той лойяльной формуле протеста, которая была нами выработана, и которой мы держались до сих пор. Если существующее правительство отворачивается от нас в критический момент нашей жизни, если оно не только не помогает нам, но даже становится на сторону предпринимателей, то мы должны требовать уничтожения такого политического строя, при котором на нашу долю выпадает только одно бесправие. И от ныне да будет нашим лозунгом: „Долой чиновничье правительство“. Так говорил Гапон, и это уже было мнение не одного его. Так уже думали самые осторожные рабочие, те, которые вчера еще требовали страхования от увечий, сокращения рабочего дня, а сегодня—свободы собраний, союзов, стачек, неприкосновенности личности. Рабочие, получившие возможность собираться, уже даже опережали Гапона, так дипломатично обходившего самые щекотливые вопросы. Чтобы сохранить свое влияние, Гапон уже должен был самым тонким образом держать ухо востро...

Тут-то и явились на сцену передовые рабочие. Они говорили открыто все, что думали, и масса не только слушала их слова, но находила в них прямое решение волнующих их вопросов; они не давали рабочему сознанию, проснувшемуся под прямым напором их жизненного обихода, застыть на полпути, и Гапон, собравший вокруг себя группу рабочих-интеллигентов, сумевший спаять всю единую массу рабочих, всех, кого заставили задуматься безработица, полицейские насилия, военные авантюры, в одно целое, не мог с ними не считаться.

Мы не говорим, что на январских митингах говорили одни рабочие-интеллигенты. Там подвизались люди разнообразных оттенков, особенно либералы, к которым сам Гапон относился с большим сочувствием. От них-то он и усвоил в сущности ту программу, состоящую из ряда частичных улучшений, ту лойяльность, которую социал-демократам, бросившимся на эти небывалые в России рабочие митинги, пришлось подвергать решительному анализу. Но рабочие социал-демократы находили для своих идей такие простые, всем доступные слова, что единодушные сочувственные возгласы, эти крики: „Правильно, товарищ“, „Верно, верно“ — нередко выпадали им на долю, тем самым заставляя и гапоновцев, и те оттенки, которые шли рядом с ними, вносить в свои требования целый ряд поправок, целый ряд изменений. Разумеется, трудно разбить то, что составляет веру малосознательного человека, перевернуть психологию серяка, может быть, вчера еще оторвавшегося от земли, перевоспитать его в социал-демократа—было бы удивительно, если бы это оказалось возможным сделать в несколько дней. Наоборот, местами социал-демократов выгоняли из собраний; были, кажется, случаи, когда их выдавали в руки полиции, но тем не менее дело делалось, и печать социал-демократической работы на событиях 9 января можно отрицать лишь либо по пристрастию, либо по незнанию самого хода дела. Достаточно сказать, что именно благодаря социал-

демократам в петиции появились: пункт первый „мер против невежества и бесправия“: „немедленное освобождение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и народные крестьянские беспорядки“ и пункт четвертый мер против нищеты народной: „прекращение войны по воле народа“. Они убедили массу, что надо требовать учредительного собрания, что ничего не надо просить, а всего добиваться, так как ничто не дается добровольно. Недаром Гапон объявил на собраниях, что социал-демократы—не враги, а друзья рабочего класса: в сущности, вся петиция в ее целом представляла собой не более, как снимок с социал-демократической программы minimum... Но эти социал-демократы уже шли из рабочей среды.

Быть может, читатель найдет несколько оптимистической нашу оценку? Допустим. Но тогда то, чего не доделала рабочая интеллигенция тех дней, было доделано... пулями и штыками. Конечно, и рабочий-интеллигент тех дней еще не вел за собой рабочего массовика. „Мы идем к тебе, государь—говорили рабочие в своей петиции—мы, все рабочие и жители Петербурга, с нашими женами, детьми, отцами и матерями, идем к тебе просить правды и защиты. Мы бедны, забиты, обременены непосильным трудом. Нас оскорбляют, обращаются с нами не как с людьми, но как с рабами, которые должны молча терпеть самую жестокую участь. Много уже мы терпели, и со дня на день все глубже и глубже становится наше падение. У нас нет прав, нам не дают образования, нас душат насилием и несправедливостью. Мы пропадаем, мы обессилены“. Словом, тот же мотив, что в письме самого Гапона, начинающемся словами: „Государь! Не верь, что министры говорят тебе всю правду“... Но... что же осталось от этой веры после того, как движению народному, по словам одного нашего государственного человека, „дали назреть“, а потом „сделали кровопускание“? Ни для кого не тайна, что произошло после 9 января: Гапон, уехав за-границу, тотчас объявил

себя социал-демократом, заявив об этом во всех европейских газетах, а часть гапоновцев, которая раньше—и то, как мы видели, не всегда и не везде—платонически сочувствовала социал-демократии, открыто заговорила у нас в Петербурге и в других городах о совершенном слиянии с ее организацией...

Правда, не долго сам Гапон оставался „социал-демократом". Очень скоро он приходит к убеждению, что в „применении к русской действительности практически здравый смысл русского рабочего-героя зачастую бывает выше немецкого Маркса" [1]). Но эта метаморфоза еще ярче иллюстрирует его значение для дальнейшего. Оно было кончено. Масса переросла своего героя, и его речи, его деяния стали хаотичными, малохарактерными, чуждыми этой массе. Куда делись „братья-рабочие, спаянные с ним одной кровью"? Когда Гапон перед своим позорным концом получил возможность вернуться, и последние из могикан его стали готовить достойную встречу герою, ничего из этого не вышло. „Братья" с 9 января настолько ушли вперед, настолько выпрямились во весь рост, что недавний герой просто стушевался в их рядах. И герою ничего не осталось, как „уехать" обратно и оттуда писать свои гимны... манифесту 17 октября...

Естественно, уже 9-го января дает могучий толчек формирующейся рабочей интеллигенции. Вернемся же к событиям, последовавшим за 9 января в Петербурге, когда сотни убитых и раненых были затоптаны конницей, и длинные вереницы саней, наполненных изуродованными труппами, то и дело, плелись, оставляя по снегу кровавые следы...

III.

Едва только телеграф разнес весть о петербургской стачке по городам и весям, точно электрический ток прошел по всей провинции. Бурная волна стачек пронеслась от края до края,

[1]) Из его же письма к членам „Собрания русских фабрично-заводских рабочих от 12 декабря.

захватывая в своем течении весь трудовой люд—от труженика прилавка и конторы, общественное положение которого все же выше положения простого рабочего, до самой последней голи. Парикмахеры, прачки, шахтеры, мастеровые глухих поселков; телеграфисты, железнодорожные служащие, фармацевты, даже псаломщики—кого только не захватила эта волна! Даже прислуга, этот наиболее забитый род наемного труда, стала присоединяться к стачке. В Вильне и Харькове забастовали... проститутки, выставившие ряд требований своим хозяйкам... Словом, пролетариат в течение двух месяцев, прошедших со дня 9 января, являет пример такой стойкости, такой солидарности, которой удивляется весь культурный мир... И—что всего замечательнее—почти всюду события буквально повторяют события 9 января, расчищая дорогу деятельности социал-демократии.

Как бы мы ни преуменьшали ее влияния, мы не можем не признать одного: чем дальше идет борьба, тем это влияние становится конкретнее. Именно оно формирует рост рабочей интеллигенции.

Если одним из первых отозвался Прибалтийский край, если рабочие Риги, Либавы, Ревеля и пр. обнаружили и понимание своего положения, и организованность, и мужество, в то время, как их кололи и рубили на улицах, то, без сомнения, они этим не мало были обязаны латышской социал-демократической партии, главной их руководительнице. Еврейские рабочие, лучше всех организованные „Бундом", тоже выступили в целом ряде городов. Под его руководством они выступили в Белостоке, Гродне, Ковне, Вильне, Сморгони, Шавлях, Брест-Литовске, Слониме, Минске, Витебске, Двинске, Пинске, Бобруйске, Борисове, Могилеве, Гомеле. В Варшаве, где целые сражения происходили на улицах, где поистине исполнялось приказание „холостых зарядов не давать и патронов не жалеть", как и во всей Польше, руководила польская социал-демократия. Как всегда смело и пылко бросились кавказские

рабочие, в особенности в Баку, где, как известно, полиция не ограничилась обычными средствами кровопускания, и неслыханные ужасы потрясли армянский город в дни 6—9 февраля, как незадолго перед тем еврейский Кишенев... И здесь действовала социал-демократическая организация, как у латышей, евреев и поляков...

Конечно, в самой России влияние социал-демократии не могло не сказаться значительно слабее, в особенности в тех губерниях, где более всего живы остатки доброго старого времени. Но и тут социал-демократия давала себя знать, овладевая мало-по-малу массовым рабочим движением. Не говорим уже о городах юга, как: Киев, Харьков, Симферополь, Екатеринослав, Севастополь, где существуют уже прочно сложившиеся организации. Во всем Поволжье происходили политические собрания, выставлялись политические требования при деятельном участии социал-демократов. Без сомнения, самый малый успех последние имели в Москве, где они были представлены значительно меньше, чем в других местах... Но на ком базировалась социал-демократия прежде всего? На рабочей интеллигенции.

Роль в событиях первой половины 1905-го года рабочей интеллигенции, может быть, ни один из приведенных фактоя так наглядно не характеризует, как опыт с комиссией Шидловского. Сама по себе комиссия эта с известной точки зрения в высшей степени характерна. Давно сказано, что русское правительство менее всего ведало, что творило. После же того, как оно расстреляло на улицах Петербурга сотни мирных рабочих, шедших с совершенно лойяльными намерениями, и со всех сторон стали приходить вести об аналогичных событиях в других городах, правительство вдруг растерялось. Вдруг как-то все чины и ранги засуетились с речами и комиссиями, вдруг как-то русский рабочий оказался „возлюбленным чадом", о котором в сущности эти чины и ранги только и делают, что заботятся. 13 января вновь назначен Трепов (специально для подавления мирно шедшей толпы), и

министр финансов Коковцев выпустил возвание к рабочим в Петербурге. На другой день их примеру последовал Одесский Нейдгардт. 16 января выступил святейший синод. 19 января царь принял „депутацию от рабочих петербургских фабрик и заводов", не промолвившую, судя по газетам, ни одного слова. Вот одной из этого рода бюрократических забот и явилась комиссия Шидловского, показавшая с такой наглядностью степень влияния рабочей социал-демократии уже тогда.

На собраниях выборщиков в эту комиссию прямо сказалась уже та пропасть, которая отделяла сознательных рабочих от Гапона. Рабочие решительно отказывались итти на какую бы то ни было из тех уступок, которые так отстаивал до 3 января Георгий Гапон. Настроение это было настолько решительно, что небезизвестный Ушаков, в свое время один из приближенных Гапона, вынужден был дать слово, что его группа будет действовать не по-ушаковски. Это уже был резкий поворот от Гапона. „Все наши требования относительно порядка выборов и работ в комиссии—сказали депутаты Шидловскому—вы можете исполнить лично. Вам предоставлена громадная власть и сила. Мы будем ждать до 12 часов 18 февраля, когда предназначено второе собрание. При получении от вас благоприятного, т. е. утвердительного ответа на все заявленные нами требования к открытию собрания, мы отказываемся от выборов депутатов. Мы отказываемся потому, что не доверяем чиновникам и фабрикантам нашу судьбу; в прошлом у нас было много уроков: при намеченных вами рамках свободного представительства в комиссии не может быть. И потому мы в комиссию не пойдем". Так говорили рабочие и надо-ли повторять, кто говорил их устами? Если роль рабочей интеллигенции в самом движении 9 января до сих пор еще подлежит спору, то ее значение в отказе выборщиков в комиссию Шидловского не подлежала и не подлежит никаким спорам. Место случайных людей, руководящих нередко рабочей массой, здесь занял ее собственный авангард.

Не будем говорить о борьбе за частичные улучшения рабочего существования, шедшей одновременно с общим движением, каким-бы успехом она ни сопровождалась; о профессиональных организациях среди масс самых различных отраслей общественного труда, начавших как-то стихийно выростать как раз после всеобщей стачки. Все это имело, конечно, отношение к движению, но нельзя не отметить, что менее всего, особенно в первой половине 1905-го года, в этих сторонах дела сказывалось участие той группы, деятельность которой мы имеем в виду. События шли слишком быстро, чтобы за ними можно было гнаться по мелочам. Самая быстрота их, самая яркость на социальном фоне создали почву, почти исключительно благоприятную для развития именно политического сознания.

IV.

В самом деле, присмотритесь к событиям, отделяющим бурное начало года от его не менее бурного конца. Правда, праздник первого мая не везде удался. Петербург, например, почти никаких демонстративных действий не видел, но припомните Варшаву, Лодзь, Тифлис, Белосток; эти грандиозные истребления, сопровождавшие объявление в них военного положения; черноморскую эпопею, движение прибалтийских батраков. Для того, чтобы убедиться, насколько верно наше мнение о том, что события все более и более подготовляли почву для рабочей интеллигенции, загляните всего только в самые правительственные сообщения. Вот несколько образчиков:

„Общественное движение среди латышей Прибалтийского края—читали мы летом—особенно усилившееся с последней четверти прошлого столетия, до настоящего времени имело почти исключительно экономический характер и ограничивалось стремлением к приобретению латышским населением прав в области местного самоуправления. Начиная, однако, с 1903 года, в этой мирной борьбе стала открыто принимать участие возникшая в 80-х годах „латышская социал-демократическая партия“, рядом с которой, хотя и независимо от нее, выступила со своей вредной деятельностью социально-революционная организация, присвоившая себе наименование „Латышский рабочий союз“. Под влиянием усиленной агитации, ведшейся представителями вышеупомянутых партийных группировок среди как городского, так и сельского рабочего населения, общественное движение в Прибалтийском крае стало приобретать за последнее время резко революционный и зачастую открыто анархический характер“. „С особенной интенсивностью—констатировало сообщение—стало проявляться это движение с первых месяцев нынешнего года [1]“. Не менее красноречиво описывается положение дел в Царстве Польском: „Со времени состоявшегося в конце прошлого года за-границей соглашения между различными революционными партиями России—писал департамент полиции—о совместных действиях против правительства, эти организации стали с особенной интенсивностью проявлять свою деятельность в губерниях русского запада. Еврейское революционное сообщество, известное под наименованием „Бунд“, которое и в прежнее время вело почти непрекращающуюся агитацию, стало с некоторых пор формировать „боевые дружины“. Польские революционные партии тоже развили свою деятельность, составляя в дополнение к своему прежнему личному составу „боевые организации“ террористского и анархистского характера. Усилия агитаторов направлены были к тому, чтобы вызвать в местной экономической жизни наибольшее замешательство, что достигалось ими, с одной стороны, целым рядом покушений на лиц как высшей, так и низшей администрации, а с другой—попытками вызвать всеобщую забастовку на фабриках, заводах и в ремесленных и торговых заведениях крупных ремесленных центров, вроде Варшавы, Лодзи, Сосновицы и др.

---

[1]) Правит. сообщение о прибалтийских событиях.

местностей в западных губерниях. В течение последних месяцев этот план осуществлялся с особенной настойчивостью". Указывая на целый ряд протестов, организованных как в Царстве Польском, так и в Ковне, Бердичеве, Екатеринославе во второй половине июля, особенно в Белостоке, где после бойни „обнаружено было около 40 молодых евреев, проживавших без определенных занятий", сообщение совершенно категорически приписывало их формирующейся рабочей интеллигенции. Так же категорично заявление правительства об Одесском событии, „прискорбном, позорном и беспримерном в летописях русского флота". Если „Новое Время" о самом бунте утверждало, что он „без всякого сомнения результат революционной пропаганды", что „пропаганда эта ведется давно и очень энергично, она была в полном ходу еще в 1903 году" [1]), то, с своей стороны, департамент полиции не остался в долгу." „Бунт на судне—заключил он свое описание рабочего движения в Одессе—дал революционным деятелям благоприятную их целям почву для воздействия на народную массу, и они удачно эксплоатировали этот прискорбный случай для дальнейшего развития беспорядков в Одессе".

Мы могли-бы продолжать без конца эти цитаты из правительственных сообщений о летних событиях других мест—в Тифлисе, Лодзи и пр., но кто не помнит еще этих кровавых сообщений? Кто не знает, что все они с весны 1904 г. начинались одним—указанием на рост рабочего авангарда, который и виноват единственно во всем происшедшем, но влияние которого, тем не менее, чем дальше, тем разростается, разростается.

Да, когда социал-демократы, за которыми стояли только еще складывающиеся организации, собрались на свой первый съезд, они могли только провозгласить партию, как идею, партию, как символ; не было в наличности рабочей интеллигенции. И

[1]) В статье г. Кладо.

вот минули восемь лет, и правительство открыто начинает считаться с нею, как с своим главным врагом. Конечно, при той стихийности, с которой бродящие недовольством массы воспринимают агитационные идеи, движение сплошь и рядом не выдерживало характера, превращаясь в ряд вспышек, нисколько не вытекающих из этой агитации. Но, так или иначе, рабочий класс зашевелился, увидел, что правительство, дезорганизованное, растерявшееся, ничего, кроме грубой физической силы, выставить не может; убедился с ясностью еще до незыблемых обещаний 17 октября, что выйти из этого тупого угла он может только в роли самостоятельного кузнеца своей судьбы. Так подготовилась почва для знаменитых „сентябрьских", „октябрьских", „ноябрьских" дней. Так создалась самая идея о Совете Рабочих Депутатов и тех трех политических стачках, которые неразрывно связаны с историей этого совета, стачек, подобных которым даже не знает Европа, с изумлением следившая за гигантскими усилиями вновь загоревшейся борьбы.

V.

Уже в самых обстоятельствах, предшествовавших этим „дням", рабочая интеллигенция заняла позицию, показывающую, что она была в центре дел.

Лишь только студенты, после годовой забастовки, собрались обсудить вопрос о том, могут-ли быть открыты высшие учебные заведения, правительство, еще более растерянное, чем раньше, вдруг решило помириться со студенчеством,—пошло на целый ряд полууступок, начиная с права выбора ректора и кончая разными мелочами. Открывшиеся же учебные заведения стали принимать ту тактику, которой добивалась партия пролетариата.

Учебные заведения должны быть открыты. Хорошо—говорили ораторы.—Но для чего они должны быть открыты? Замкнуться в толстых стенах для благородных целей науки,

когда кругом свистят пули, и воздвигаются виселицы? Нет, автономный университет должен быть открыт для автономного народа, для политической агитации, для политической организации масс. Если хотя-бы самое непродолжительное время университеты будут, служа делу народной свободы, очагом политических митингов, переданным в руки народа, то они сделают больше, чем сделают иными путями десятилетиями. Так говорили социал-демократы, и не было высшего учебного заведения, которое-бы рано или поздно не примкнуло к этому решению. Но не успевали студенты еще принять то или иное решение, как стихийные волны рабочих, беспокойные, бурные, уже раскрывали двери, наполняли аудитории и залы, выдвигали своих ораторов, сами занимали позиции, отодвигали студентов на задний план.

Эти митинги впервые показали у нас, как неожиданно вырос мыслящий пролетарий. И вот слово начинает переходить в дело.

Манифест 17 октября был даже по форме своей прямым ответом на первую забастовку пролетариата, явившуюся выражением всего того, что говорилось в этих аудиториях и залах, наполненных тысячами голов. Рабочий уже рос не по дням, а по часам.

Забастовка наборщиков в Москве, с которой началось движение, как и забастовка рабочих в городских предприятиях, вначале носила экономический характер. Но с выступлением железных дорог стало опять-таки очевидно, какое значение в условиях нашего существования имеют подобные протесты. Обсуждались политические события дня всюду, особенно то или иное отношение к непосредственной злобе дня—тогдашней Государственной Думе, которая самым тщательным образом обходила не только пролетария, но мало мальски либерально настроенного обывателя. И если опять таки бичем, гнавшим рабочих туда, где можно было поучиться чему нибудь, была та же твердая власть, те самые казаки, которые оберегали

типографии с помощью нагаек, наводя ужас на стачечников при каждом удобном и неудобном случае, то своих ораторов, конечно, политических, в свою очередь посетители рабочих собраний находили уже в своей среде. Уже очень скоро стачка начинает терять свой частичный характер, переходя из Москвы в Петербург, из Петербурга в другие города России, делается всеобщей и не экономической, а именно чисто политической. Процесс с такой силой, с такой быстротой шел все вперед и вперед, что сами ораторы не успевали нередко разобраться, как следует, во всем происходящем. Можно сказать, эта стачка была революционным крещением Москвы, которая, как мы уже имели случай упомянуть, даже вначале года еще располагала сравнительно слабым запасом сил—обстоятельство, отмеченное в свое время в воззвании московской группы социал-демократической партии. „Долго спала Москва—писала она.—Когда кругом все выше подымались волны народного возмущения, царские слуги доносили кому следует: „В Москве все спокойно“. „Но Москва проснулась и никакими зверствами, никакими расстрелами не задавить уже проснувшегося сознания рабочих масс“. Дальнейшие события в Москве, кажется, в достаточной мере показали, насколько верны эти слова.

Не менее важны были результаты этой стачки и для Петербурга, и для целого ряда других городов. Именно в это время в Петербурге образовался уже имеющий свою историю Совет Рабочих Депутатов, образовались Советы в других городах, принявшие руководство пролетарским движением. Конечно, чем серьезнее, чем авторитетнее значение этого учреждения в событиях всех трех стачек (а значение это было настолько велико, что Суворин-отец в одном из своих „Маленьких Писем“ стал высказывать сомнения, не новое ли правительство перед ним в лице Советов, которое должно притти на смену кабинету Витте), тем важнее для нас установить, какова же была роль в этом так незываемом беспар-

тийном учреждении рабочей интеллигенции. Но об этом в следующей главе.

Может быть, ни одна вспышка не требовала такого напряжения сил, такого количества жертв, как то, что прошло перед нами красными пятнами после октярьской забастовки. Не успели еще просохнуть чернила на пере, чертившем „незыблемые основания“ 17 октября, как в царских сферах начали готовиться к оргии реакции. Черные силы, воспользовавшись моментом упадка от страшного октябрьского напряжения, охватившего всю страну, как известно, не сразу развернулись во всю ширь. Они сперва произвели „маленькую пробу“—короткую атаку. Вот ответом на нее и явилась вторая политическая забастовка, ноябрьская. Надо ли говорить, что, отвечая на вдруг введенное военное положение в Польше, на военно-полевой суд, объявленный над кронштадтскими матросами, на новые мобилизации казаков и пр., повторяя известное постановление Совета: „долой полевые суды“, „долой военное положение в Польше“ и пр., рабочие повторяли постановление депутатов, так как на собрании при единодушном взрыве аплодисментов была принята именно резолюция последних. И повторяли как будто-бы недаром. Военное положение в Польше было снято, полевой суд в Кронштадте отменен. Но . . . крепче, смелее были вожди контр-революции, чем это казалось.

Короткая атака превратилась в целый ряд коротких атак, и Совет Рабочих Депутатов, и, в частности, рабочая социал-демократия должны были вновь встать на защиту своих прав. На этот раз политическая забастовка, продолжавшаяся в Петербурге с 8-го по 17 декабря, частью прошла менее удачно, чем в октябре и ноябре, частью перешла в вооруженное восстание. Надо ли подчеркивать ту роль, которую сыграли эти события в процессе формирования рабочей мысли?

Такова линия—от одиннадцати отделов „Общества русских фабрично-заводских рабочих“ к Совету Рабочих Депутатов.

Такова роль рабочей интеллигенции во всех этих событиях, таково растущее ее значение. Без сомнения, каковы бы ни были те небывалые репрессии, которые были приняты по отношению к ней, рабочей интеллигенции им не истребить. Рабочая интеллигенция, — как всегда, как это мы видим в других странах аналогичного типа развития — вышла из борьбы лишь еще более объединенной, еще более искушенной. Это так же верно, как то, что только доведение до конца подрывавших старую Россию противоречий, только коренное обновление всего социально-политического уклада в состоянии было вывести ее из того критического положения, в котором с каждым днем все более и более запутывали ее пока еще сильные мира сего. Одно из двух—или неизбежная смерть—и тогда оставалось лишь прямо смотреть в глаза надвигавшейся судьбе, или жизнь, та жизнь, которой жило все культурное общество, кроме Китая и Турции. Другого исхода не было и не могло быть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРВЫЙ СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

I.

Для кого могло быть сомнение, что это был орган, избранный рабочей массой, который жил ее мыслями, ее чувствами, ее велениями; что депутаты, заседавшие в Соляном Городке, в Вольно-Экономическом обществе, были рабочей, подлинно рабочей интеллигенцией? Дело росло открыто, и не было газетного отчета, который бы не признавал массовый характер этой организации, мыслящее лицо депутатов.

Однако, когда Совет Рабочих Депутатов был арестован, то царские слуги прежде всего попытались вынуть душу из него.

Дело 200.000 рабочих, дело Совета Рабочих Депутатов одним взмахом пера было сведено к „делу Носаря, Вайнштейна, Фейта, Кнунианца и Комп.“, той злополучной кучке агитаторов, которая, как известно, являлась причиной всех неудач Николая II и его слуг.

Всего Совет насчитывал до 550 депутатов. Между тем на скамье подсудимых сидели 52 (точнее 28) человека, т. е. подстрекала, агитировала к „насильственному посягательству на изменение“ царского образа правления, „приобретя денежные средства для надобностей Совета, произнося в тех же целях в публичных своих заседаниях речи“, какая-нибудь десятая часть всего состава совета.

Цель была ясна. Необходимо было стереть ту цельность, которую успел приобрести в глазах масс рабочий парламент,— тот основной дух, которым пропитаны были все проявления организации—дух рабочего демократизма; представить дело

так, точно вся ответственность за действия Совета лежала на на кучке заговорщиков, „вынесенных на поверхность политической жизни,—как писало тогдашнее „Новое Время“,—со всей остальной мутью“, тех „троглодитах революции, которые, мол, вот-вот еще чем-нибудь выкажут свое презрение самодержавному правительству“.

Нужны ли здесь люди, более подходящие, чем инородцы? И вот из трех десятков томов, обнимавших все дело, целый отдел отведен был происхождению членов исполнительного комитета и прежде всего происхождению Носаря, фамилия которого, по мнению того же „Нового Времени“, звучит по еврейски: „Носсель“. И вот из 500 имен,—не говоря уже о рабочих массах,—подобраны были все штейны, берги, анцы, янцы, и исполнительный комитет, в качестве заговорщического сообщества, был готов.

Конечно, картина, данная судом, даже в тех условиях, при которых защита была признана, резко опрокинула все хитроумие жандармов. Характер подполья опровергли не только свидетельские показания, как таковые; нет, на скамье подсудимых оказались рабочие, настолько „легальные“, что превратить их в „штейнов“ и „бергов“ не было никакой возможности.

II.

Совершенно официально подтверждалось легальное существование Совета. Вот, например, ряд фактов. Казак Суденко из Харьковской губернии принес формальную жалобу Совету на князя Репнина, у которого он работал, за то, что тот его несправедливо рассчитал. Адрес был изображен так: С.-Петербург, в „рабочее правление“, и, тем не менее, оно дошло: почтово-телеграфное ведомство доставило его по назначению. Санитары, возвратившиеся с Дальнего Востока, послали в Совет жалобу на Красный Крест. Ходоки из Минской губернии от артели землекопов, после приглашения Совета не

брать денег иначе, как золотом, явились в Совет с жалобой на подрядившего их помещика, который пожелал с ними рассчитаться какими-то облигациями... Это ли не легальная организация? Фабриканты отводили помещения под выборы, фабриканты давали депутатам пароходы для поездок, городская дума непосредственно сносилась с депутатами, при чем один из гласных открыто выступил в заседании Совета,—все это подтверждали сами фабриканты, сами гласные.

Мало того. Совет Рабочих Депутатов непосредственно сносился с правительством: депутации Совета выслушивались как градоначальником, так и премьер-министром весьма благосклонно, и не только выслушивались. „Высшим начальством“ заседания Совета раз навсегда признаны были закрытыми. Полиция не проверяла, соблюдаются ли ими правила для закрытых собраний, установленные законом 12-го октября, так как высшим начальством были даны указания считать собрания Совета таковыми и никаких препятствий не чинить.

Препятствий Совету не чинилось, тогда как заседания других союзов и организаций в это время разгонялись.

Что это—провокация? Правительство сознательно давало Совету открыто действовать для того, чтобы вызвать наиболее сознательные слои на улицу? Таково было довольно распространенное мнение. Без сомнения, как ни схоластично искать во всех действиях правящих сфер признаки какого-то одного мефистофельского плана, доля истины в этом мнении была. Попытки провоцировать движение, в том предположении, что после периода октябрьских поблажек новые крутые меры вызовут выступления рабочих, следовали одна за другой. Так были рассчитаны тысячи рабочих. Правда, последовала неудача, но в ответ уже следует целый ряд новых актов, вплоть до ареста Хрусталева, имеющих целью именно не уничтожить рабочее дело, а раздражать его носителей. Следуют новые законы о свободе, драконовские кары за стачки, закрытие сразу восьми газет, циркуляр Дурново от 30-го ноября,—

согласитесь, при таких обстоятельствах допущение, по обыкновению без полиции, собраний Советов Рабочих Депутатов без каких-либо „высших“ соображений объяснено быть не может. Тем не менее, едва ли в этом вся истина. Ни для кого не тайна, что именно российский пролетариат отвоевал 17-е октября, и правительство не могло не считаться с этим актом. Оно не могло не отступить перед пролетариатом, и Совет Рабочих Депутатов был фактически настолько легализирован, что полиция не смела долгое время подойти к нему. Высшие чины принуждены были писать об этом низшим специальные инструкции...

III.

Количество обвиняемых, конечно, рабочих, с каждым днем росло с такой быстротой, что никакие рамки не были в состоянии вместить в себе такое „дело“.

Эти рабочие, один за другим, с самых разнообразных концов столицы, проходят перед вами с одним и тем же протестом на устах, рабочие, которые собственно и подняли на своих плечах это историческое уже в своем роде здание, и любопытны те черточки, которые вам бросаются в глаза. Это уже не мещанин, которому ни до чего нет дела, кроме своей улицы; это уже даже не „кружковик“, только-только начинающий раскрывать глаза на свет божий, на борьбу за рабочий день, на заработную плату и пр. Это уже в полном смысле этого слова „сознательный“ человек, понимающий, на что он шел и зачем шел, когда выбирал свой Совет, нисколько не опасающийся за свою безопасность в виду откровенного ответа. Можно безошибочно сказать, что этого склада рабочего человека еще весьма недавно в России не существовало. Он является прямым продуктом тех октябрьско-ноябрьских дней, продуктом которых является и весь Совет в его целом. Это — рабочая интеллигенция.

Вот что представителям обвинения пришлось приобщать к делу с самого начала. Свидетель Ольшевский, рабочий вагоностроительного завода, сообщил суду, что он является от лица 1040 рабочих его завода, подписавших следующую резолюцию: „мы, рабочие петербургского вагоностроительного завода, узнав, что депутаты Буров и Стогов привлечены по делу Совета Рабочих Депутатов, и горячо протестуя против стремления правительства свести дело Совета Рабочих Депутатов на дело кучки агитаторов, поэтому заявляем: 1) что организация Совета Рабочих Депутатов была делом всего петербургского пролетариата; 2) что избранные члены в Совет Рабочих Депутатов действовали в пределах строго указанной нами программы; 3) что отступление от данных указаний неминуемо повлекло бы за собой удаление депутата, не оправдавшего доверия рабочих; 4) что, творя исключительно волю пославших их, члены Совета Рабочих Депутатов виновны перед царским правительством не более каждого из нас; 5) что выхватывание отдельных лиц из среды рабочих и стремление сделать их одних ответственными за общее рабочее дело есть умышленное и несправедливое извращение обстоятельств дела. Протестуя против привлечения к ответу одних только членов Совета Рабочих Депутатов, мы заявляем, что, будучи с точки зрения правительства не менее виновными, чем привлеченные, требуем предать всех нас суду вместе с членами Совета Рабочих Депутатов“. То же заявлял рабочий Волконевский, бывший депутат от Обуховского завода. Его резолюция, подписанная 3000 рабочими, гласила: „мы, нижеподписавшиеся, рабочие Обуховского завода, убедившись в том, что правительство хочет произвести суд, полный произвола, над Советом Рабочих Депутатов, глубоко возмущенные стремлением правительства изобразить Совет Рабочих Депутатов в виде кучки заговорщиков, преследо-

вавших цели, чуждые рабочему классу, мы, рабочие Обуховского завода, заявляем, что Совет состоит не из кучки заговорщиков, а из истинных представителей всего петербургского пролетариата, а потому и протестуем против произвола правительства над Советом, выразившегося в обвинении выбранных нами уважаемых товарищей, исполнявших все наши требования в Совете Рабочих Депутатов с согласия нашего, и заявляем правительству, что, насколько виновен наш уважаемый товарищ П. А. Злыднев, настолько же виновны и мы, в чем удостоверяем своими подписями".

Аналогичную резолюцию за 410 подписями с протестом против суда представляет депутат от казенного водочного завода, депутат от Александровского завода Бахтиаров (на ней 2500 подписей), Глухов, депутат металлического завода и т. д. Указывая, что Совет творил волю пославших его, обсуждал все выносившиеся резолюции предварительно на заводах и фабриках, что власть его не только не была, но не могла быть узурпирована благодаря тем основаниям, на которых он держался, свидетели-рабочие категорически требовали, чтобы „дело" из процесса 52-х было перекроено судом милостивым и скорым в то, что оно есть на самом деле,— в процесс всего петербургского пролетариата.

— Почему я не на скамье подсудимых?—восклицал Царев, депутат от мастерских конно-железных дорог.—Я принимал такое же участие в Совете, как и они.

О том же спрашивал солдат Шмаков, бывший депутат. Соколов, депутат кожевенного завода Осипова, начал с требования посадить его на скамью подсудимых, так как он решительно не понимает, в чем разница между ним и подсудимыми, такими же депутатами, как и он. Рабочий Богданов, один из депутатов Путиловского завода, говорил о том, как дико изображать дело в виде „кучки заговорщиков".

Но что же получилось бы, если бы суд в самом деле исполнил то, что пролетариат от него требовал! Тут-то, можно сказать, действительно воочию рабочие развернули перед судом все то, что для них представлял Совет, орган, подобного которому никакая прошлая жизнь создать не могла, который, вопреки всем преградам, воздвигнутым полицейским порядком, сумел не только сплотить 200.000 рабочих, не только руководить их общей борьбой за их права, но и сообщить этой борьбе небывалую силу, небывалый авторитет, создать очаг, где рабочий мог подышать настоящим свежим воздухом, протянуть руку угнетенному пролетариату Польши, кронштадтским матросам, приговоренным к смертной казни. Университетские митинги, партийные газеты, забастовочный энтузиазм, амнистия... Чувствовалось, что вся эта новая жизнь, хлынувшая вместе с свежим воздухом, ярко, детально воскресшая в памяти, так дорога, так страшно дорога этим людям, как может быть дорого только собственное дело, дело собственных рук своих.

Может быть, такова только часть свидетелей? Может быть, были и такие свидетели-рабочие, которые высказывали взгляды иного рода? Нет, самый серый рабочий—мы говорим о свидетелях-рабочих, так как почти все они принимали то или иное участие в Совете, следовательно, для выяснения состава Совета имели исключительное значение,—самый серый рабочий давал свои ответы резко, как-то не так, как это бывало до сих пор, пока не выступили рабочие; даже вопроса о присяге не поднималось. Свидетели, почти без исключения, принимали ее, как без исключения обещались говорить правду. Совершенно иное видим мы потом. Из двух-трехсот свидетелей присягу приняло всего несколько человек, именно не рабочих. Не говорим, впрочем, о рабочих „Нового Времени". Остальные рабочие от присяги все отказывались... Но так обстояло дело не только с присягой. В эту демонстрацию вносится еще новый момент.

— Обещаетесь ли вы,—спрашивает председатель группу рабочих после отказа их от присяги,—обещаетесь ли говорить всю правду суду?

— Нет,—твердо отвечает один из них, рабочий.

Председателю новая забота:

— Почему же нет?

— Да потому, что я не знаю, что вы будете у меня спрашивать. Может быть, вы спросите у меня такие вещи, на которые я не могу отвечать правду.

Но это еще, сравнительно, объяснение мягкое. Многие же отвечали словами рабочего Егорова:

— Не признаю в данном деле правоспособности суда.

Таким образом, рабочие не только формально требовали, чтобы „дело" было распространено на них точно так же, как и на подсудимых, но и самыми своими взглядами и поведением на суде подчеркивали, что они являются убежденными сторонниками принципов, лежавших в основе „сообщества, именовавшего себя С.-Петербургским Общегородским Советом Рабочих Депутатов"...

IV.

Процесс был характерен именно тем, что рабочие не только не считали нужным ничего утаивать, но, наоборот, представили возможно более выпуклую и серьезную картину деятельности. Они смотрели на свои показания не как на показания суду, а как на отчет перед своими избирателями, который, конечно, должен быть чужд всяких посторонних соображений. Действительно, их показания были настолько откровенны, что даже прокурор, как видно из обвинительной речи, не заподозрил здесь никакой фальши.

Недаром из свидетельских показаний образовался новый обвинительный акт, совсем новый...

Так, самому прокурору пришлось в конце концов констатировать: „Мы одинаково наблюдаем и движение рабочих

к Совету и Совета к рабочим, или, как выразился один из свидетелей, снизу кверху и сверху вниз". „Большинство резолюций на заводах, как это прямо сказано, вынесены были после речи оратора или социал-демократа, или социалиста-революционера; создался тесный круг, в котором все друг другу сочувствовали и помогали"...

По форме первый Совет Рабочих Депутатов был прямым ответом на первую забастовку пролетариата, явившуюся выражением всего того, что говорилось в аудиториях и залах, наполненных тысячами голов. Рабочий рос уже не по дням, а по часам.

По идее Совет осуществлял план, выдвинутый незадолго перед тем социал-демократией правого и левого крыла.

„Хотя пролетариату-то и не придется участвовать в выборах—писала „Искра"—это отнюдь не мешает нам захватить себе право „избирательной агитации" путем учреждения р а б о ч и х а г и т а ц и о н н ы х к о м и т е т о в для агитации во имя всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права и у ч р е д и т е л ь н о г о с о б р а н и я. Более того. К образованию таких комитетов мы должны толкать и всех других, „лишенных прав". Комитеты эти не должны ограничиваться одним пропагандированием идеи всеобщего избирательного права и Учредительного Собрания. Они должны призывать и к о с у щ е с т в л е н и ю этой идеи в том или ином виде. Они должны поставить себе целью организовать выбор народом своих уполномоченных революционных депутатов вне тех „законных" рамок, которые будут установлены министерскими проектами. Они должны звать крестьян посылать своих свободно выбранных депутатов в города для совместного с городским населением обсуждения вопроса, что делать. Поскольку нам такая тактика удастся—и мы, конечно, должны быть готовы к тому, что она удастся не вполне и не повсюду—постольку нам удастся покрыть страну сетью органов революционного самоуправления. Всероссийское объ-

единение такого самоуправления создаст и ту российскую трибуну, которая нам так нужна".

Конечно, до „всероссийского объединения“ Советам было еще далеко. И Советы Рабочих Депутатов явились именно этими рабочими агитационными комитетами. В то время эта идея казалась мечтою, но вот прошло несколько месяцев, и мечта превратилась в действительность.

V.

Представительный орган петроградского пролетариата возник 14 октября 1905 года, когда в него вошли представители 40 крупных заводов, 2 фабрик и 3 профессиональных союзов: рабочих печатного дела, приказчиков и конторщиков. 13 октября в заседании Совета принимали участие лишь делегаты Невского района; 14-го же уже присутствовали делегаты всех больших районов.

Насколько организация, объединявшая выступления пролетариата, когда такие выступления требовались обстоятельствами, ответила минуте, видно из того, что уже 15 октября состав Совета возрос до 266 депутатов, представлявших 96 предприятий и 5 профессиональных союзов.

Ко времени ареста членов исполнительного комитета (в начале декабря) общее число депутатов Совета возросло до 562 человек, представлявших 147 фабрик и заводов, 34 мастерские и 16 профессиональных союзов. По производствам состав Совета распадался на следующие группы:

1.	От рабочих, занятых обработкой металлов	351
2.	„ „ по обработке волокнистых веществ	57
3.	„ „ печатного и бумажного производств	32
4.	„ „ по обработке дерева	23
5.	„ „ резинового, сапожного и кожевенного производства	15
6.	„ „ табачного производства	13
7.	От рабочих конфектных фабрик	7
8.	„ „ осветительных предприятий	7
9.	„ „ производства по обработке химических продуктов	6
10.	„ „ производства взрывчатых веществ	11
11.	„ „ стеклянного производства	3
12.	„ „ изготовляющих платье и белье	2
13.	„ „ часового и ювелирного производств	2
14.	„ „ обслуживающих пути и средства сообщения	11
15.	От служащих в торговых заведениях	12
16.	От лиц, занятых в конторах и аптеках	7

Отсюда видно, что, главным образом, в Совете были представлены металлические заводы.

Политическая физиономия Совета определялась взаимодействием входивших в состав кругов рабочего класса. Рабочий парламент, как был окрещен Совет Рабочих Депутатов, законодательный орган пролетариата не мог явиться центром революционной энергии одной социал-демократии. На первых заседаниях Совета, правда, присутствовали одни представители социал-демократии. Представитель „меньшинства“ председательствовал на заседаниях Совета. Несколько депутатов социалистов-революционеров, хотя и приняли участие в них, но не требовали прямого представительства от центрального комитета своей партии. Вскоре положение, однако, изменилось. Совет Рабочих Депутатов постановил пригласить на свои заседания по несколько представителей от руководящих комитетов. Вообще, в составе Совета, хотя и в незначительном количестве, но были и рабочие социалисты-революционеры, и беспартийные. Совет Рабочих Депутатов не оправдал надежд, возлагавшихся на него теми, по мнению которых смешанная политическая организация не может быть руководительницей рабочего класса. Получилось сосуществова-

вание двух пролетарских организаций: одной—социал-демократической партийной, другой—беспартийной. Но противоречие это сглаживалось само собой.

В то время, как Совет Рабочих Депутатов был законодательным органом рабочего класса, исполнительный комитет его—по выражению председателя Совета—являлся ответственным советским министерством. Комитет олицетворял исполнительную власть. Идейное руководство комитета было велико. Но, как бы ни было значительно идейное руководство исполнительного комитета, разрешение всех вопросов, стоящих на очереди дня, предварительно принималось самим Советом.

VI.

Яркой страницей жизни Совета Рабочих Депутатов было уже печатанье „Известий Совета Рабочих Депутатов". Чтобы оценить по достоинству деятельность Совета в этом направлении, надо иметь в виду, что, хотя явочным порядком свобода печати была в те дни осуществлена, но, тем не менее, ни одна не только нелегальная, но и легальная типография с обыкновенными станками не могла осуществить задачу Совета—печатать десятки тысяч номеров „Известий". А так как владельцы крупных типографий на риск не шли, то Совету оставался один путь—путь захвата.

И вот ряд эпизодов, ярко характеризующих решительность важаков Совета.

Второй номер печатался в такой обстановке. Когда группа рабочих явилась в типографию „Сына Отчества" и принялась за дело, администрация им заявила:

— Вот, если бы вы нас арестовали...

— Вы арестованы,—ответил смекнувший рабочий.—Впускать всех, но никого не выпускать!

И работа закипела... Для третьего номера занята была типография „Общественная Польза". Входы были закрыты, поставлена была стража. Управляющий, видя, что помешать

печатанию нет возможности, в виде последнего довода, указал, что электричество не действует. Но ему ответили:

— С какой станции вы его получаете? Оно будет через полчаса. Только на четвертом номере полиции удалось напасть на типографию, где этот номер печатался. Это была типография „Нашей Жизни". Так как члены Совета дверей ей не открыли, то двери были взломаны. Но, когда городовые и солдаты заполнили мастерские, то рабочие им заявили:

— Мы все здесь находимся по распоряжению Совета Рабочих Депутатов и требуем удаления полиции.

Сыщик Статковский, руководивший обыском, не решился в те дни обострять отношений с Советом и согласился увести полицию, но с тем, чтобы работающие назвали свои имена. Провал в „Нашей Жизни", конечно, не охладил энергии деятелей „Известий", но побудил их принять в дальнейшем все меры предосторожности. Когда печатался уже № 6—на этот раз в „Биржевых Ведомостях"—то завешивали все окна, чтобы нигде не просвечивало, не решались выходить из помещения даже, когда не хватало оригиналов.

В комической обстановке печатался 7-й номер; для него была захвачена типография „Нового Времени". Гольдштейн, которого Суворин послал для переговоров с пришедшими, следующим образом рассказывал потом о своем положении: „Когда я подошел к типографии, газовые фонари не горели, весь Эртелев пер. был погружен в темноту. У дома типографии и рядом я заметил несколько кучек народа, а у самых ворот на панели человек восем-десять. Во дворе у самой калитки было человека три-четыре. Меня встретил десятник и проводил в контору. Там сидел управляющий типографии и три неизвестных молодых человека, повидимому, рабочих. Когда я вошел, они поднялись мне навстречу.

— Что скажете, господа?—спросил я.

Вместо ответа один из молодых людей предъявил мне бумагу с предписанием от Совета Рабочих Депутатов печатать

следующий номер „Известий Совета Рабочих Депутатов“ в типографии „Нового Времени“. Предписание было написано на клочке бумаги и к нему была приложена какая-то печать.

— Дошла очередь и до вашей типографии,—заявил мне один из посланцев.

— То-есть что это значит: „дошла очередь?“,—спросил я.

— Мы печатали в „Руси“, в „Нашей Жизни“, в „Сыне Отечества“, в „Биржевых Ведомостях“, а теперь вот у вас.

Печатание длилось до 11 часов утра, и даже Суворин не посмел донести полиции, которая узнала самый факт лишь на другой день, когда номер уже разошелся по рукам.

Вскоре после того градоначальник Дедюлин издал приказ, в котором грозил всевозможными карами и типографам, и приставам тех участков, в районе которых типографии были расположены. Но большинство типографов отказалось дать подписку в том, что и их типографии не будут использованы „Известиями Совета Рабочих Депутатов“.

VII.

Совет Рабочих Депутатов начал свое существование при царизме и кончил его при царизме. Отсюда очевидно, какую силу противодействия встречал он на каждом шагу своим начинаниям, и в то же время какая огромная энергия лежала в основе этих начинаний! Существо борьбы сводилось к захватному праву. Право стачек, право собраний, свободы печати, слова, восьмичасовой рабочий день—все бралось путем захвата, бралось постольку, поскольку не было возможности сотни тысяч людей сажать на скамью подсудимых согласно статьям законов.

И если эта борьба—упорная и страстная—кончилась поражением, то объяснять это ошибками вождей нельзя Борьба велась целесообразно. Но в то же время нельзя не вспомнить, что Совет неоднократно переходил границы политического расчета, переоценивая свои силы.

Переоценки своих сил Совет не избег уже в стачечной борьбе, которой он руководил, и в октябре, и в ноябре, и, наконец, в декабре, когда, правда, формально Совета уже не существовало, но действительное его ядро было живо.

Единодушно, с огромным политическим результатом проведена была октябрьская всеобщая забастовка. 18 октября условия изменились, и забастовка являлась уже бесцельной. И, прекращая ее, Совет в своей резолюции постановлял: „Считаясь с необходимостью рабочего класса, опираясь на достигнутые победы организоваться наилучшим образом и вооружиться для окончательной борьбы за созыв Учредительного Собрания на основе всеобщего, равного и тайного избирательного права для достижения полного народовластия, Совет Рабочих Депутатов постановляет прекратить 21-го октября в 12 часов дня всеобщую политическую забастовку, с тем, чтобы, смотря по ходу событий, по первому же призыву Совета, возобновить ее для дальнейшей борьбы так же дружно, как и до сих пор, за наши требования“.

Но уже слабее прошла ноябрьская забастовка. Забастовка шла очень стройно. Уже не приходилось тратить сил на привлечение не присоединившихся рабочих. На призыв прекратить работы с лозунгами: „1) долой полевые суды; 2) долой смертную казнь; 3) долой военное положение в Польше и во всей России“ отозвались многие крупные заводы, многие крупные фабрики. Но недаром член исполнительного комитета предостерегал своевременно Совет. „По сегодняшним телеграммам мы видим,—говорил он,—что везде в России политическая манифистация идет на убыль. Показывает ли это слабость пролетариата? Отнюдь нет“. Конечно, это было так. Но непосильная тягота уже давала себя знать. Человеческие силы имеют свои границы. Ведь впереди была еще „решительная компания“. И член комитета имел все основания приглашать „прекратить сейчас забастовку и приступить к тому, что нам нужнее всего—организации, организации и организации“.

Декабрьская забастовка вытекала из ноябрьской, как следствие из положения, и в ней еще ярче сказалось слабое место Совета Рабочих Депутатов, состоявшее в том, что он очень много агитировал, но очень мало организовывал. Соотношение общественных сил предопределяло поражение декабрьской стачки. Но арест председателя Совета сразу создал настроение, при наличности которого твердый расчет отходит на второй план. Рабочие Балтийского завода заявили, что они готовы на забастовку, если она будет решена Советом Рабочих Депутатов. Такие же резолюции были приняты в целом ряде фабрик и заводов. И этот ответ, стихийной волной разлившейся по стране, нашел отклик в самом Совете, хотя было ясно, что объявлять третью всеобщую забастовку непосредственно после двух, только что закончившихся, значило не достичь цели.

И забастовка доказала, что как пролетариат, так и оставшиеся на свободе члены Совета Рабочих Депутатов не учли своих политических сил.

VIII.

То же явление имело место и в борьбе за восьми-часовой рабочий день, отнимавший много сил и времени.

Восьмичасовой рабочий день был введен революционным путем, при чем рабочие депутаты обгоняли массы своим постановлением, а масса следовала за ними. 29 октября ночью Совет скрепил своим именем немедленное введение восьмичасового рабочего дня. „Совет Рабочих Депутатов,—говорилось в резолюции,—приветствует всех товарищей, которые революционным путем ввели у себя на заводах восьмичасовой рабочий день. Совет Рабочих Депутатов считает, что повсеместное введение восьмичасового рабочего дня требует соответственного увеличения расценок, дабы заработная плата осталась по меньшей мере на прежнем уровне. Совет Рабочих Депутатов постановил: всем отставшим заводам и фабрикам

с 31-го октября примкнуть к борьбе за восьмичасовой рабочий день, вводя его на всех заводах и фабриках революционным путем. Взаимная поддержка рабочих всех районов будет залогом общего постановления Совета“.

Постановление Совета, конечно, имело огромное агитационное значение. Но одно дело—великая идея, другое дело—данное соотношение сил. Уже очень скоро после изложенной резолюции Совет принимает другую. „Решение Совета Рабочих Депутатов ввести восьмичасовой рабочий день революционным путем,—читали уже мы,—встретило упорное сопротивление объединенных капиталистов. Правительство графа Витте, которое стремится сломить силу революционного пролетариата, вступило на защиту капитала и этим сразу превратило вопрос о восьмичасовом рабочем дне в Петербурге в вопрос общегосударственный, а это привело к тому, что Петербургские рабочие, отдельно от рабочих всей страны, не могут сейчас осуществить постановление Совета. Посему Совет Рабочих Депутатов считает необходимым временно приостановить немедленное и повсеместное захватное введение восьмичасового рабочего дня“.

Так и свелась на-нет борьба рабочих за восьмичасовой рабочий день. Капиталисты заявили, что его не введут, и смогли сдержать свое слово; объединившись в дружный и прочный союз, они ответили на требование Совета поголовным локаутом, закрытием фабрик и заводов и связанной с этим безработицей. Ведь к тому времени война с Японией была окончена, и предложение рабочих рук превышало спрос на них повсюду. Напротив, рабочие, жадно кидаясь на митинги и массовки, где отшлифовывались их мысли и их чувства, туго шли в те организационные ячейки, которые собственно и сообщали им действительную силу.

Так стоило Совету от политики в прямом смысле слова перейти к первому социальному требованию, ударившему класс капиталистов, чтобы класс капиталистов одним ударом лишил

слабо организованную массу тех уступок, которые, казалось, так легко были завоеваны ею захватным путем. Тысячи рабочих были рассчитаны, и Совету Рабочих Депутатов пришлось организовывать уже комиссию безработных и приступать к осуществлению ближайших задач организации помощи рассчитанным рабочим.

IX.

Декабрьская стачка перешла в вооруженное восстание. И, конечно, особый интерес представляет вопрос об отношении Совета к вооруженному восстанию в свете тех дней.

На суде о вооруженном восстании много говорили Сверчков, Хрусталев, Бронштейн (Троцкий). Последний посвятил этому вопросу целую речь. Вот, что он приблизительно сказал. Его речь столь характерна для выяснения вопроса, что мы приводим ее целиком:

„Что касается вооруженного восстания, то понятие о нем Совета слишком отличается от полицейско-прокурорской конструкции этого понятия. Мы полагаем, что и всеобщая политическая стачка в существе своем является восстанием. Стачка экономическая имеет целью оказывать давление на волю отдельных предпринимателей на почве предъявленных к ним требований. Стачка политическая, через голову предпринимателей и даже потребителей, стремится влиять на государственную власть. Политическая стачка парализует всю деятельность государства, опирающуюся на централизованный хозяйственный механизм. Но это только с одной стороны; с другой же, политическая стачка объединяет рабочий класс в одном коллективном протесте, противоставляет его государственной власти, как врага врагу. В этом и заключается сущность восстания.

Идея вооруженного восстания проникла всех, и вот почему нам ни разу не приходилось ее обсуждать. Мысль о вооруженном восстании была далеко не в одной только резолюции

28-го ноября,—красной нитью проходила она по всем резолюциям Совета. Но думал ли Совет Рабочих Депутатов, что вооруженное восстание может быть подготовлено в подполье и затем уже в готовом виде вынесено на улицу? Нет! Я думаю, что наши юридические понятия о восстании отстали от жизни, по крайней мере, на 75 лет. Они остались у нас еще со времени Сперанского, со времен карбонариев, между тем как в нашем представлении вооруженное восстание ничего общего с заговором не имеет. Считал ли Совет Рабочих Депутатов, надеялся ли внести в это восстание максимум дисциплины и свести к минимуму его жертвы, думал ли, говорю я, этот самый Совет, что готовиться к вооруженному восстанию это значит—заготовить запасы оружия, разбить город на кварталы, сделать все то, что делают военные власти, когда они ожидают каких-либо беспорядков? Нет! Готовиться к вооруженному восстанию,—по нашему мнению,—значит пропитывать сознание народных масс убеждением, что конфликт неизбежен, что только сплоченной силой возможно достигнуть победы, что наступит решительный момент, когда необходимо будет дать отпор старому правительству. Вот сущность подготовки вооруженного восстания. Когда солдаты увидят эту готовность умирать за будущее благо народа, готовность устилать за него трупами мостовые, тогда сердце армии перейдет на сторону народа. Представление о революции неразрывно связано с баррикадами. Но даже баррикады имеют чисто моральное значение. Они служат для того, чтобы сплотить революционную массу, вселить в нее готовность к смерти и тем обеспечить победу. Восстание подготовлено, когда народ готов умирать за будущее благо. Правительственная власть не могла оставаться спокойной к этому, ей оставалось одно — дезорганизовать сплоченные массы, и она стала вносить дезорганизацию всеми способами—репрессиями, аттаками черной сотни, провоцированием. Обвинитель и суд заинтересованы в в этом, чтобы доказать, что мы вооружались для борьбы с

образом правления. Я согласен принять это обвинение, но при одном только условии. Мы, социал-демократы, давно и много раз доказывали, что содержание всякой правительственной власти при нынешнем строе должно свестись к осуществлению одного права репрессий. И если мне скажут, что погромы, убийства и насилия, Томск, Белосток и Седлец есть „образ правления Российской империи“, то я скажу: да, в ноябре мы вооружались против образа правления в Российской империи“.

Ни запасов бомб, ни военных планов. Было московское восстание, были восстания отдельных провинциальных городов. Всем понятно, чем эти вспышки кончились. Но едва ли серьезный человек назовет эти вспышки наступлением. Выступления этого рода были прежде всего актом самообороны. „Что касается обвинения в подготовке вооруженного восстания,—сказал Хрусталев, председатель Совета,—то оно всецело основано на покупке нескольких сот револьверов и раздаче холодного оружия для борьбы с армией доктора Дубровина; Совет отлично понимал, что могли значить эти револьверы против пулеметов. Конечно, если бы ход вещей вызвал общее всенародное восстание, то эти револьверы исполнили бы свое назначение. Вот та скромная роль, которую сыграл Совет в деле вооружения пролетариата“. В самом деле, в то время, как устраивались собрания в Михайловском манеже, на которых Булацели вербовали погромную армию; в то время, как целые группы членов активной борьбы с революцией снимались со значками и с револьверами в руках, с клятвой „патреота“ отомстить всему сознательному народу,—в самом департаменте полиции, очаге всех жандармских предначертаний, на особом станке, под руководством бывшего директора департамента полиции сенатора Вуича, печатались прокламации об избиении евреев, армян, интеллигенции, печатались воззвания от имени „группы русских рабочих“ „в С.-Петербурге“, обвинявшей представителей Совета Рабочих депутатов в заведомо ложной растрате рабочих денег.

Таким образом, ни в одном городе не было сделано попытки к захвату политической власти, даже материальных орудий власти; ни в одном городе не было прямого призыва к восстанию по той простой причине, что нигде не было налицо соответствующей политической обстановки: ничего, кроме голых рук, от которых далеко до планомерных действий. Совет Рабочих Депутатов, в общем, не мог не понимать значения рискованных выступлений. Совет не мог не оценивать по достоинству предложения разных темных личностей немедленно организовать восстание, хотя они и сулили целые транспорты оружия. Совет неоднократно умеряющим образом действовал на массы.

Так, например, было по вопросу о немедленном введении революционным путем восьмичасового рабочего дня. Такова была речь Троцкого после ареста Хрусталева, который подействовал на рабочих с такой силой, что они готовы были сейчас выйти на улицу. На вопрос о том, была ли какая-либо техническая подготовка к восстанию, все рабочие отвечали отрицательно.

— Как дико и глупо предполагать,—восклицал рабочий Богданов,—что Совет Рабочих Депутатов призывал к вооруженному восстанию (в том смысле, конечно, как его понимала прокуратура).

— О вооруженном востании речи не было (рабочий Новиков).

— В Совете заходила речь о вооружении, но исключительно для самообороны; о боевой организации заходила речь, но для защиты от черной сотни—вот ответ, который все время переходил из уст в уста.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 1912—16 гг.

I.

Центральное место фабричной общественности в 1912—16 гг. — вопрос о самодеятельности, самоопределении масс, организационном закреплении того оживления, которым и верхи, и низы рабочие захвачены. Худо ли, хорошо ли рабочие пользовались теми средствами воздействия, которые давал промышленный подъем, только и слышите: „все объединяются, только мы, рабочие-матрасники, не хотим подумать о себе“; „товарищи-конторщики, не пора ли нам слиться в единую семью!“. Или: „пекаря, в союз!“ „товарищи-обойщики, дело начато—время не ждет“. О поражении ли речь или победе, все равно: „используйте время промышленного оживления“, „бросьте личные интересы, возьмитесь за общие“, „путь далек, а без организации еще дальше“, не новички вы в этом деле, не надо лишь отстать“. Или: „знаете сказку, как умирающий отец давал наставление детям, как жить, и показывал пример на венике; развязанный переломал по палочке“.

Что именно характерно—это не голоса единиц. Нет, рядовой рабочий „ощущает пользу организации“, хлопочет о планомерности, единстве целей. Неподготовленный еще к работе, он выбирает союзные правления, органы рабочего представительства, советы старост, фабрично-заводские комиссии, больничные кассы. Это он наполнил клубы, рабочие просветительные общества; это он шлет делегатов на съезды, уполномоченных в присутствия, анкеты на выставки. Мало

разбирается в сложных условиях классовой борьбы,—но, как ни первоначальна, примитивна его психология, все же вопросы организации (начиная с какого-нибудь устава и кончая заявлением с.-д. фракции Думы) задели его за живое. В каждый данный момент та или иная потребность наиболее электризует массу. И теперь это—открытая деятельность, открытая организация. Только привились открытые формы деятельности, лозунг организации, лозунг представительства стал массовым.

Действенное значение этого лозунга выступает, когда сопоставишь его со старыми организационными лозунгами, с теми ячейками, в которых они произносились до 1905 г. Тогда даже рабочие кружки, стремящиеся внести элемент организации, дисциплины, влияющие на исход тех или иных решений, были редки. Масса же — распыленная, вопреки огромному напряжению в стачечной борьбе,—таскала каштаны из огня для других. Рабочий-стачечник приобретал кое-какие навыки, но сами по себе кружки старого типа, переполненные „идеологами, понявшими смысл исторического движения“, по преимуществу учащейся молодежью, были организациями рабочими по названию, интеллигентскими по составу. Ни агитаторы, ни техники, ни пропагандисты, ни организаторы из рабочих. В тогдашних условиях деятель-рабочий бросался в глаза.

Рабочего, отстаивающего право своего класса организоваться, понимающего широту этого права, выдвинул 1905 г. Активные, бурные дни—период „явочного“, рабочего строительства, с Советом Рабочих Депутатов в центре—выдвинули штаб рабочих - профессионалистов, рабочих - организаторов. В крупных промышленных центрах функции рабочих организаций стали обслуживать деятели открытого рабочего движения, как такового; чтобы что-либо провести, в 1906 г. нельзя было уже не апеллировать к рабочим, не опереться, так или иначе, на самодеятельность рабочую. Однако, рабочая организация—организация массовая в точном смысле слова.

Пока же организованы верхи, они, конечно, играют роль объединяющих кружков, но все же кружков. 1906 же год закреплял именно настроение верхов, а не масс.

„Зараза“ началась после пятилетия открытого строительства, когда клубы и союзы выделили новые кадры рабочей интеллигенции, а выемки из столиц, имеющие место после каждой забастовки, разбросали эту интеллигенцию по всей стране. Конечно, рост рабочих, мало-мальски освоившихся с общественной работой, не соответствует потребностям движения. Наоборот, каждый пункт открытого движения—живой свидетель стихийности. Но все же стремление помочь себе в элементарных нуждах движения уже зарождается не в верхах, а в массе.

Как некогда „экономисты“ держались непосредственных интересов рабочих, как желали связаться с массами! И все же листки оставались листками, директивы — директивами; в смысле организации пролетариата—ни следа. Органы рабочие 1906 г., в свою очередь, были слишком проникнуты политикой „великих ожиданий“ для того, чтобы служить базисом массового движения, с его буднями, с его мелочами и частностями. Теперь же рядовой рабочий ораторствует, пробует силы в качестве докладчика, в качестве делегата того или иного района. Теперь рядовой рабочий—резервуар организационного опыта, хранитель организационной преемственности. Не будь этого, не было бы и самых „потребилок“, касс, съездов в том виде, в каком они теперь существуют.

И тип рабочего-организатора не прежний; это не фанатик формального единства. Прежнее так характеризует, напр., рабочий-печатник: „пусть будет в просветительном обществе малограмотный секретарь, тормозящий работу, пусть в профессиональном союзе будет беспомощный председатель; важно, чтобы он был исполнителем генерального штаба“. Как мы, пролетарии, относились к призывам? „Верим, слушаем,—поддакивает „петербургский рабочий“—нам бы лишь призыв для

маханья кулаками. Каковы будут результаты, мы об этом не думаем". Любим „все громкое, праздничное", „забываем свои насущнейшие, самые жизненные дела", „не используем даже те права, которыми уже обладаем", хотя с их помощью „многое можно сделать для сплочения своих рядов". Наоборот, „все, что требует планомерной, повседневной борьбы, нам не по плечу". Вот, напр., забастовка. „На что опереться? Ведь мы, начав забастовку, уже через неделю кричим: „есть нечего". „Не хотим поучиться у заграничных пролетариев дисциплине, перенять уменье вести планомерную работу".

Деятель 1912—16 гг. „не вспыхивает сегодня, чтобы завтра остыть". Его маяк—масса. Все меры, все усилия употребляет он, чтобы выйти на широкую дорогу, захватить массы. Кружок остается кружком, а вот втяните массовика в союз, орган заводского самоуправления, кооперацию; заинтересуйте съездом, анкетой, страховой кампанией, выборами: процесс выработки новых работников, новых приемов деятельности уже результат.

Но мог ли подпольный орган быть массовым? Нет, не мог. Можно разно смотреть на аппарат партийный, на формы политической самодеятельности; но что орган рабочего представительства, орган, связанный с массой, с ее будничным существом, может быть лишь открытым или полуоткрытым,—двух мнений в рабочей среде нет. „Каким путем нужно итти, чтобы силы не растрачивать зря?"—спрашивали рабочие и отвечали: необходимо в первую голову проповедывать легально или нелегально, устно или письменно идею открытых рабочих организаций: „приложим все усилия к тому, чтобы рабочий учился ходить без посторонней помощи". Калужские рабочие уверяют, что прорыв из подполья труден? Конечно, жертвы, приносимые на алтарь легального движения, огромны. Но „они нужны и необходимы. Всякая проповедь против не только вредна, но действует развращающе". Проводить черту между легальным и нелегальным, конечно не

приходится. Тем более, что и то, и другое сплетено органически и днем вчерашним, и днем сегодняшним. Теперь, как и прежде, „как только рабочий мало-мальски освоился с организационной работой, так сейчас же недреманное око заносит его в свои святцы". Рабочие лишь не ставят одно над другим, одно вне другого—только и всего.

Итак, планомерное изо дня в день вмешательство широких масс путем открытых форм деятельности. Что же это за формы? Те самые, что развернулись перед нами: профессиональные союзы и клубы; съезды рабочие и общественные; рабочие кассы и „потребилки"; выставки и „дни", страховая кампания и представительство на заводах—материал, кажется, достаточно пестрый, достаточно сочный, чтобы одеть в плоть и кровь новые условия борьбы, новые методы ее ведения.

Разумеется, не надо выходить из рамок, в которых протекала эта общественность, переоценивать значение ее. Одно дело—завоевания во всем объеме, другое дело—завоевания, каковы они были. Одно дело—формы гибкие, подвижные, другое дело—формы, в которых новое переплетено со старым в причудливых комбинациях. Первая же цитадель пролетарской солидарности—профессиональные союзы—лучшая иллюстрация.

II.

Когда заводчики и фабриканты московского промышленного района уверяли себя, что профессиональные союзы в России „влачат жалкое существование", то внешним образом они не ошибались. Расцвета не было. И не потому только, что вытравляли душу живую. Власть прошлого, власть инерции дает себя знать.

Рабочие, то и дело, констатировали: „когда-то и у нас была солидарность между рабочими. Теперь у нас правило—в одиночку". „Остались только так называемые польские. Понятно, не в эти союзы итти" (Варшава). „Многие-многие

рабочие создали свои союзы. Мы только, парикмахеры, дальше дум и слов не идем“. „Кажется, никому нежелательно оставаться в положении скота, когда можно добиться лучшей человеческой жизни. Но ничто не может объединить нас, рабочих басонного ремесла“. „Не научились, видно, и бутылочники понимать свои классовые интересы. Забыли, что в единении—сила“. Союзов нет в молочных предприятиях. На фабрике Торнтон и „разговоров о союзе не любят“. В Белостоке прошло 2 года, как закрыт профессиональный союз печатников, и никаких мер к созданию нового. Так же на фабрике бр. Леонтьевых: „заговоришь о союзе, то говорят: „лучше выпью сороковку“. „Людишек“, забитых репрессиями, заштрафованных с ног до головы, конечно, не мало.

Однако, народ все, оказывается,—„пришлый, ненадежный“. И условия труда, не создающие почвы для объединения; и состав рабочих—полукрестьянский. Крестьяне же, пришедшие из далеких губерний, „чужды интересам городского пролетария“. Вчера еще существовал союз—сегодня же вспыхивает стачка, красных заменяют серые, и потребности в союзе как не бывало. Конечно, и серых переварит фабричный котел, но переварит в будущем.

Конечно, и союз профессиональный идеализировать не приходится. И союз, сплошь и рядом, не вливал живой жизни в членов. „Мы, строительные рабочие,—говорил старый член архит.-строительного союза—все умеем строить: хоромы, дворцы, казармы, словом, все—вплоть до церквей и тюрем, а вот свою собственную жизнь, свое родное профессиональное общество мы до сего времени устроить еще не научились“. Жаловались на убыль членов, на инертность правления, на отсутствие живого интереса, на то, что взносы не поступают, и в других обществах.

Вот, напр., союз экипажников в Петрограде. Материальные дела его не плохи, но „деятельности не проявляет“. В союзе рабочих мраморно-гранитного производства—„безлюдье“, работников не осталось... То же у текстильщиков, у кожевников одно время. В Москве—„плачевное состояние дел“ в союзе рабочих по производству обуви, по изготовлению мануфактурных товаров. Ткачи в союз не идут, „хотя всякий ныне говорит, что он сознательный и за рабочее дело горой“. Профессиональное общество чаеразвесчиков в упадке. В Одессе печатники „забыли, что значит солидарность: рушится организация“; в Харькове у конторщиков равнодушие членов, пониженная деятельность правления; в Ростове-на-Дону—в союзе мельничных рабочих. В Баку—союзы типографщиков, механиков „до такого состояния никогда и не доходили и не дойдут“; в Благовещенске—союз плотников таков.

Факты эти можно увеличить; редкий союз не переживал упадка. Одно обращало внимание: явление это временное. Сегодня упадок, завтра оживление. Вот, напр., то же общество рабочих по производству обуви в Москве. Первая стачка—и рабочие восклицают:

— Эх, беда быть не организованным. С сегодняшнего дня даем честное слово: всеми силами поддержим организацию.

И, в самом деле, смотришь уже не упадок, а подъем. То же у архитект.-строительных рабочих, у кожевников: вдруг всколыхнулось общество „в виду начавшегося наступления со стороны хозяев“. То же в Баку—у типографщиков, в Ростове-на-Дону—у мельничных рабочих. Пошли стачки, и случайного элемента, то входящего в союз, то исчезающего из него, нет. Усиленный рост взносов, приток новых членов даже в пунктах приложения... полукрестьянского труда. „Стыдно стало“,—отмечает член союза деревообделочников после столкновения на лесопильном заводе Григорьева, когда пришли с Василеостровского района стать на место григорьевцев.

С этим критерием и надо подходить. Как бы ни хромало союзное дело то там, то здесь в каждый данный момент,

в то же время оно крепнет, растет. Кажется, удар за ударом сыплется, как из рога изобилия; а живая жизнь находит себе исход. Общество закрыто,—на место закрытого пробивает себе дорогу несколько новых. Вот перечень за несколько месяцев: союзы плотников, обойщиков, декораторов в Лодзи, металлистов в Екатеринбурге, мясников и колбасников в Риге, литографских рабочих в Харбине, деревообделочников в Москве, портных в Ченстохове, печатников в Самаре, рабочих по обработке ценных металлов и часовых мастеров в Киеве, обойщиков и колбасников в Петрограде... Первый конфликт в предприятии, первое поражение, и реют недавние воспоминания:

— Тогда у нас был профессиональный союз, а теперь у нас его нет. Дружно, товарищи, в ногу!

Вот почему были и союзы, прямо полные жизни, энергии. Рабочие-корреспонденты так их нам описывали. Деревообделочники в Петрограде „горят жаждой работы". У булочников, портных,—„оживление", „народ все молодой", „верующий в свои силы". В союзе футлярщиков говорят: „мы и без устава, без регистрации всегда были в союзе"; все дела решаются единодушно. У золотосеребреников толпится народ: „последняя победа—говорят они—подняла союз в глазах рабочих". „Все хотят быть в союзе".

То же в обществе булочников, в обществе печатников, в обществе портних. В обществе рабочих по металлу приток членов превышал запись закрытого общества; в короткое время число это поднялось в 5 раз. Характерно лишь уменьшение членов из чернорабочих. Союз кожевников, ожив, тоже „пошел в ногу с начавшимся рабочим движением". Рост членов профессиональных союзов с 1912 г. на 1913 г. выражался в следующих цифрах: у металлистов с 3.530 до 3.900, у печатников с 1.600 до 2.200, у булочников с 480 до 1.530, у ткачей с 350 до 1.460, у портных с 300 до 600, у деревообделочников с 200 до 700, у котельщиков с 80 до 440, у чертежников с 80 до 150. Точно так же наличность увеличилась у металлистов с 16.160 до 16.550 р., у печатников с 750 до 1.450, у булочников с 1.020 до 2.000, у ткачей с 450 до 1.900, у портных с 250 до 800, у чертежников с 1.000 до 2.000, у деревообделочников с 50 до 300, у котельщиков с 220 до 560. Конечно, передовой, действующий в более благоприятных условиях пролетариат Петрограда не стоял особняком. И в Москве, и в Киеве, и в Царстве Польском, и в Сибири живая жизнь давала себя знать. И в московские союзы рабочих-сапожников, рабочих-портных „с каждым днем вливается бодрое настроение". В обществе рабочих печатного искусства „верят в организацию". „Несмотря ни на что, родит жизнь все новых и новых работников" в среде московских кожевников: число членов удвоилось, даже утроилось. Зашевелились булочники и кондитеры. „Рабочая солидарность"—союз металлистов—вырос во весь рост. В союзе водопроводчиков число членов в 3 месяца удвоилось (с 300 до 650). В обществе печатников—2.500 человек. В Киеве славились металлисты, в Туле, в Ростове-на-Дону—тоже (в неделю число членов удвоилось), в Иркутске булочники и кондитеры—„забыты личные интересы", в Царстве Польском—деревообделочники, обратившие внимание своим упорством, своей энергией при проведении стачки в 3.000 предприятиях, в Бахмуте—торгово-промышленные служащие, в Онеге—лесопильные рабочие, союз которых еще в 1906—07 г. переживал эпоху расцвета и т. д.

Конечно, и эти данные можно сгустить. Но не в красках дело. Дело в тенденции.

Центр союзного движения—металлисты, потому что центр забастовочной энергии—металлообрабатывающая группа. За металлистами—печатники, текстильщики. Заминка в текстильном производстве—и союзы то падали, то поднимались. Ведь промышленный подъем и экономическая стачка—две стороны одного и того же явления. И строительная лихорадка сопро-

вождалась стачечным движением. И здесь своя союзная кривая. Если ни одна профессия не отмечена апатией к союзу, которая бы не перешла в горячку,—ни ремесленники, ни транспортные, ни торговые рабочие,—то это объяснялось и промышленным подъемом, и стачечной волной, которая ни одной профессии в 1912—14 гг. не миновала.

Вот основа различия между теперешним и прежним союзом рабочих. Профессиональный союз и стачка, профессиональный союз и экономика нераздельны. „Начинается стачечное движение—замечает рабочий,—начинают говорить о союзах". Уходит экономическая волна, остаются благие мечтания.

Разумеется, экономическая стачка росла и в 90-х годах, захватывая все новые и новые слои рабочих. Имел место и промышленный подъем в то десятилетие. Но была экономическая борьба, и не было профессионального движения, так как экономическая стачка была уголовным преступлением, не говоря о праве коалиции. Профессиональные союзы сложились бы в кружки, далекие от повседневного участия масс, от организации планомерных работ. Конечно, в бурные годы союзы, находившие живой отклик среди рабочих, функционировали открыто, выростали по всей России, как грибы, и все же это не были профессиональные союзы в теперешнем смысле слова. Союзы ширились, крепли; в одном Петрограде записалось в члены 35.000 рабочих (в 44 союзах), в Москве—25—30.000 (в 40—50 союзах), в Нижнем—8.500 (в 18 союзах). И тем не менее... наиболее охваченные профессиональным движением оказались ремесленные рабочие. В текстильной промышленности были лишь неудавшиеся попытки. Вообще, собственно-заводские рабочие не организовались в союзы. Промышленный кризис настраивал прежде всего политически. И хотя стачечная волна 1906 г. не уступала 1912 г., но то была волна политических стачек. И профессиональным союзам, поглощавшим до 2—3 тысяч человек, до... устава дела не было. Вспомните союз рабочих печатного дела, сыгравший такую роль в борьбе за свободу печати. Это были союзы для агитации, которых чисто-профессиональная деятельность не захватывала.

Конечно, это подчинение политической жизни было понятно в то время. Но в то же время примечательно, что союзы рабочих по металлу, по обработке волокнистых веществ в том виде, в каком они имели место в 1912—16 гг.,—именно дети экономического подъема, экономической стачки. Подлинные профессиональные союзы на фабриках и заводах выростают у нас после 1906 г. из сохранившихся остатков прежних организаций. Следя за этим узлом, и убеждаешься, насколько ни политика, ни кризис — не колыбель профессионального движения. В самом деле, чем привлекали рабочих профессиональные организации прежде всего? Соображениями стачечными. Пусть еще стачка проходит, большею частью, помимо союзов, — все же каждый из них прежде всего — организация борьбы с капиталом.

„Часто приходится слышать от обойщиков,—пишет обойщик, — когда речь идет о профессиональном союзе, такие слова: мы мол жили и без союза, на что он нам: членский взнос плати, а пользы не видать. Но так ли это! Вот факты. Почему места бастующих занимают другие рабочие? Это результаты нашей неорганизованности. Хозяева учитывают нашу неорганизованность". Когда организоваться легче всего? „Время не ждет,—убеждает металлист.—Нам, петербургским металлистам, надо использовать благоприятное время промышленного оживления, добиться же улучшения может только союз". „Пока имеется возможность—добавляет золотосеребреник, — необходимо использовать наше право во всей его широте, ибо застой промышленности всегда грозит рабочему". „Подъем в промышленности создал и для нас, рабочих мраморно-гранитного производства, благоприятные условия: 5 лет раздается голос нашего общества". К тому же каждый рабочий помнит, что рабочие не организованы в то время, как

предприниматели организованы отлично. Не прежнее время, когда нелегальный рабочий кружок представлял собой силу на ряду с распыленным купечеством российским. „Нашим врагом—капиталом, слышите вы, закон 4 марта использован во всю сетью организаций капиталистов и локаутов. На организованное давление давайте организованный отпор". „Товарищи-печатники, хозяева наши сорганизовались, хозяева жмут со всех сторон. Возьмем пример с хозяев". Рабочие знают, как появились на свет божий „знаменитые общества фабрикантов и заводчиков", как в короткий срок сделались решающим фактором государственной политики. „Это под их давлением петербургское присутствие так упорно отказывает нам в регистрации союза металлистов". „Помните, товарищи, второвская стачка проиграна благодаря неорганизованности". „Стачка для гуковцев должна послужить уроком, что нужно довериться рабочему профессиональному союзу". „Тогда будет планомерная работа".

Правда, тут-то и запятая. Налицо экономическое оживление, общее число забастовщиков 1912 г., достигающее 700—800 тысяч,—все предпосылки, необходимые для расцвета профессионального движения. Самое же руководство экономической борьбой профессиональные союзы выполнять не могут. За 5 лет закрыто 497 союзов (отказано в регистрации 604) только за то, что не выполняли завета „России": „резчики, режьте по дереву, по камню, по металлу, портные, шейте, маляры, красьте"... Но факт остается фактом: отчеты профессиональных союзов показывают, что наибольшее число членов поступает в размах стачечного движения, что только победы и поражения вдвигают союзное дело в рамки.

Подлинные рабочие союзы появились у нас, и обеспечить их могли лишь промышленный подъем, лишь экономическая стачка. Не характерно ли, что Ушаков с компанией, вновь появившийся на сцене, организовал „общество борьбы с забастовками?" Но, повторяем, судьба профессионального дви-

жения не могла не радовать фабрикантов. В Англии, в Германии при таких условиях профессиональное движение достигало бы необычайного размаха. А у нас?

Очаги стачечного движения—районы петроградский, южный, московский промышленный. Много ли здесь организаций? Не говорим о клубах в строгом смысле слова,—их с 1906 г. по 1909 г. было в России всего 11 с 8.760 членами; в 1910 же г. клубы были вовсе „ликвидированы". О кооперации— речь особо. Что же касается союзов, то в Петрограде имелось их 16 [1]), в Москве—14 [2]), в Баку — 6 (конторщиков, литографов, прислуги, рабочих по обработке дерева, механического производства), в Одессе — 3 (печатники, металлисты, литографы). Прибалтийский край мог похвалиться 1.500 организациями с 21.650 членами. Но профессиональных союзов немного. Рига насчитывала их 11 с 5.550 членами. В Царстве же Польском, приволжском, северо-западном районе обществ мало. Были в Иваново-Вознесенске союз торгово-промышленных служащих, в Нижнем-Новгороде—печатников, в Томске, в Самаре, Ростове-на-Дону—печатников, в Киеве—печатников и рабочих по изготовлению одежды, в Туле—металлистов, в Харькове—рабочих графического искусства, в Луганске—металлистов, в Вологде—торговых служащих и т. д.

III.

Чем же проявлял себя профессиональный союз? Чем отличалась эта деятельность от типа 1905—06 гг.?

---

[1]) Печатников, булочников и кондитеров, рабочих по обработке волокнистых веществ, золотосеребреников, рабочих по обработке дерева, портных, кожевников, экипажников, архитектурно-строительного, мраморно-гранитного производства, футлярщиков, приказчиков, мануфактуристов, конторщиков, чертежников, фармацевтов, обойщиков.

[2]) Водопроводчиков, портных, печатников, деревообделочников, мануфактуристов, кожевников, булочников, парикмахеров, официантов, торговых служащих, поваров, сапожников, рабочих по развеске чая, общеобразовательных народных развлечений.

„Пролетарии—пишет рабочий Общества электрического освещения 1886 г. в Москве—проникаются классовым сознанием. Профессиональные союзы—классовые организации“. И редко обращение рабочего, в котором бы эта нота не звучала.

Хотя разделение функций с 1907 г. освящено традицией: одна область — политика, другая — экономика, повседневная борьба за жизнь,—социалистическая душа союзов жива. На любом собрании союза чувствовалось, что русское профессиональное движение в лице его виднейших деятелей и вспоено, и вскормлено марксизмом. Кажется, пытались влиять в профессиональных союзах и либералы, и народные социалисты. Но напрасно было бы искать следов. Другое дело—социализм, положивший на союзы неизгладимую печать. Конечно, вопрос о взаимоотношениях, о том, что именовалось „персональной унией“, теперь не стоит в той остроте, в какой бы он мог стоять, если бы деятели профессионального движения были в то же время деятелями партийными, как в 1905 г. Но тем отчетливее принципиальная окраска рабочих-профессионалистов. Даже ревизионисты среди них редки, тем более профессионалисты чистого типа с их лозунгом: „профессиональные союзы без политики, занимайтесь только своими профессиональными нуждами“. И все же это не былое, не прежнее отношение к „рабочему“ делу.

„Бряцали деревянным оружием“, „поменьше надуманности“, „научимся у наших товарищей, английских чартистов“. „Немецкие рабочие скрывались в певческих и гимнастических обществах“... „Организация рабочих масс для борьбы за ближайшие требования“,—вот задача союза по мнению рабочих. И все вторят: „за ближайшие требования пролетариата“.

Чем занимались профессиональные союзы 1905—06 гг.? Решением принципиальных вопросов. Политические условия того времени, традиционные методы борьбы, задачи дня,—все это воспитало пренебрежительное отношение и к закону 4 марта, и к самой профессиональной организации. Хотя

закон—сравнительно с дореволюционной Россией—давал, несомненно, нечто положительное, хотя промышленники сразу отвоевывали с его помощью позицию за позицией, рабочие не делали его „исходным пунктом“, не пытались влить в него новое содержание. К „рабочей“ политике, к экономической борьбе кризис не располагал.

Другое дело—с 1907 г., когда кризис подходит к концу, острота политических задач притупляется, и рабочей интеллигенции, и массе становится ясно: вне союза, вне опыта, накопленного организацией, выхода нет. Бережение организации выступает на первый план, и в то время как она разворачивается изо дня в день, охватывает все более широкие массы, перед рабочими встает перспектива „мелочей“, „частностей“. Вот в этих-то ближайших перспективах — отличие теперешнего от прежнего. Насколько отличие полно значения, показывает тот развал, который переживал союз печатников в 1907 г., союз металлистов в 1909 г., прежде чем принять нынешнюю физиономию. Это был внутренний кризис.

Сравните общие собрания прежде и теперь. Влияние момента—вот прежняя атмосфера. Член союза был готов на „подвиг“, но быстро и остывал; не сомневался в торжестве партии, но движим был одним чувством. И активно было в союзе правление, состоявшее, конечно, из интеллигентов. Иное положение теперь. Интеллигент-руководитель—дело прошлого. И собрание, и правление, и комиссии состоят из рабочих, худо ли, хорошо ли, но сами сносятся с администрацией, сами делают доклады, сами решают свои дела. Если рабочий ждет чего-то необычного от союза, значит, он быстро покинет его. Только тот остается, кто связан с союзом и малым, и большим. Он разбирается в будничных вопросах, вникает в детали организационной жизни, далекой от романтики. Прежде профессиональный союз наполняли агитаторы, теперь—рабочие-секретари, рабочие-казначеи, рабочие-„страховики“, рабочие-кооператоры. Нет времени на нафос: слишком дает себя знать несоответствие между силами союза и стоящими перед

ним задачами. На сцену выступают дело, работа, выдержка, благодаря чему и отношение между правлением и членами не то. Вместо кучки генералов, перед нами рабочий коллектив, ответственный более, чем где-либо. Благодаря работе, пропасть между ним и членами невозможна. Едва ли найдется член— передовой рабочий,—который бы не вникал в общие вопросы, не ценил героические выступления; но в союзе все внимание его сосредоточено на ближайшем; в союзе он повседневно, упорно отстаивает свое право на самоорганизацию.

Конечно, теория глаже практики. На практике, быть может, никогда раньше союз так не был беден силами, как теперь. Как ни объяснять отлив интеллигенции нашего круга, практически потеря очень велика. Рост же рабочей интеллигенции, рабочих-инициаторов, рабочих-специалистов отнюдь не соответствует потребностям профессионального строительства, не говоря о том, что только рабочий развернулся в союзе,— он изъят из обращения. Вот тут-то и сказывается теперешняя природа союза. Если сплошь и рядом на собрании выходит, что не из кого, что называется, выбирать, то и правление, и комиссии, сплошь и рядом,—кость от кости рядовых рабочих в полном смысле этого слова. Но если это, с одной стороны,—шаг назад, то с другой нельзя не отметить, что союз при этом не только функционирует, но функционирует, с той же правильностью, что союзы, более богатые силами. Таково-то „сужение задач“, мелочи „рабочей политики“, массе близкой и понятной. Не будь частностей—нового вина в старых мехах,—будь профессиональные союзы до сих пор те же очаги „принципиальности“,—этой преемственности, этого опыта, переходящего от грамотного к безграмотному, без сомнения, не было бы, и циркуляры министерства внутренних дел, вместе с сенатскими разъяснениями, с деятельностью особых по делам об обществах присутствий, чистили бы глаже.

Внутренние затруднения не преодолены, но острый период изжит. Один за другим, союзы становились на почву органи-

ческого развития и внешним образом. Нет области, которая была бы близка массе и в то же время не была бы центром деятельности союза. Конечно, союз еще мало давал непосредственных выгод члену.

Например, ему не по силам вести планомерную политику в области сношений труда и капитала. Не говоря о том, что закон не давал права союзам руководить стачкой, самые кассы—в силу соотношения организованных и неорганизованных рабочих—не играли еще сколько-нибудь заметной роли. Нельзя поставить ни просветительную деятельность, ни юридическую, ни медицинскую, ни помощь безработным прочно, раз вся надежда—на сборы. Однако, элементы планомерности и организованности, по мере своих сил и средств, союзы вносили. Все же выдавать бастующим членам пособие они могли. И вот, пользуясь этим, борются против того минутного воодушевления, о котором писал рабочий Абросимов („Чтобы бастовать, не нужно ничего... Бросил работу—забастовал, а там—авось победим“); против голых лозунгов, бросаемых для того, чтобы показать свою „революционность“. Только проверяя себя и свои силы, только учитывая результаты, союз идет от победы к победе. Точно так же в области просветительной. Лучшая школа для рабочих—уже самые собрания, приучающие их к анализу самых сложных вопросов, к установлению связи между теорией и практикой, общим и частным, далеким и близким. Конечно, профессиональные союзы поддерживали просветительные общества, вступали в сношения с народными университетами, организовывали курсы, библиотеки, лекции. Так, в 1909 г. на каждую сотню израсходованных рублей 15 шло на просвещение, в 1910—19,3 и т. д. И—что именно характерно—умудренные опытом, поражениями, союзы ставили эту деятельность не на агитационную, а на чисто научную ногу. Насколько широка помощь безработным, юридическая, можно судить по союзу металлистов. Даже медицинская помощь, характерная, как „частность“,

привлекает к себе не меньше внимания, чем другое. У каждого союза в каждый данный момент та или иная злоба дня. Союз металлистов—теперь арена фракционной борьбы, но в то же время мелкая организационная работа здесь тверже, чем где-либо. В остальных союзах фракционные споры роли не играют. Все—вопросы классовой борьбы. В союзе печатников, подорванном наступательной тактикой хозяев, — стачка. У булочников и кондитеров—тоже: частичные стачки, общие стачки профессии. В союзе портных—тоже (после недавних массовых стачек), в союзе деревообделочников—страхование, у архитектурно-строительных рабочих—страхование, у приказчиков—бюро для приискания работы. Сверхурочные работы, штрейкбрехеры, примирительные камеры, локауты, взаимопомощь,—с одной стороны, рабочая пресса, рабочее законодательство, право коалиций,—с другой; нет правления, нет собрания, которое бы на разные лады, по разным поводам, не развернуло содержания каждого из этих вопросов и специально, и в связи со всей социально-общественной структурой. Особо отметим кампанию, начатую петроградскими профессиональными союзами за влияние в городской бирже труда,—первый шаг в муниципальной политике рабочего класса,—затем вопрос о рабочем доме, доме-дворце, поднятый с таким воодушевлением еще 3 года тому назад. Конечно, прежде чем российские биржи труда из пунктов, служащих не столько безработным, сколько предпринимателям, нуждающимся в руках рабочих, станут биржами для рабочих, профессиональные союзы должны добиться влияния в органах городского самоуправления. Точно так же и концентрация рабочих организаций, дом-дворец, требует предварительно еще многого. Характерно, однако, направление рабочей мысли, стремление так или иначе конкретизировать ближайшее, в том или ином виде, но провести его в жизнь. Характерна настойчивость. Сегодня вопрос на делегатских собраниях профессиональных союзов, завтра—на собрании рабочих разных профессий, созванном

на основании правил 4 марта. Влиять в городской бирже нельзя—организуется собственная рабочая биржа...

Вот „легальные возможности“, непочатый угол „частностей“. Масса знала, за что борется. И не опускала рук, не бросала дело, как только передовые посты опустели.

IV.

Подъем рабочего движения создавал условия для развития не только профессиональных союзов, клубов, кооперативных учреждений, но и фабрично-заводских коллективов. В эпоху реакции, экономического кризиса, фабричная конституция, как известно, выродилась, фабричный абсолютизм был реставрирован. Где представительные органы заводские остались,—захирели.

И вот—в поисках новых организационных форм, новых организационных оболочек—рабочие вновь чувствуют в них зачаточные формы организаций высшего типа. В 1905—06 гг., сплошь и рядом, какой-нибудь совет старост или фабричный комитет, или заводская комиссия, или совет уполномоченных развивался в профессиональный союз. И хотя пока этого нет, самый вопрос приковывал к себе внимание пролетариата в высокой степени.

На фабриках, на заводах то и дело оживали эти институты. Тщетны попытки администрации свести их на-нет. Напр., в экспедиции заготовления государственных бумаг столпы экспедиции науськивают рабочих на депутатов: „вот смотрите на совет депутатов: они ничего не делают, а вы за них работаете“. Но рабочие продолжают выбирать. Тогда администрация объявляет их „рассадником крамолы“, а рабочего, раз он выбран в депутаты, — „нелегальным“. Опять толку немного. „По примеру других фабрик и заводов—жалуется рабочий экспедиции—администрация хочет наложить свою руку и покончить раз навсегда с выборами. Но рабочие всеми силами протестуют, и дело кончится в пользу

рабочих“. В Свеаборгском порту все делается для того, чтобы помешать „сознательным“ пройти в старосты. И рабочие волнуются. „Рабочие должны употребить все усилия,—пишет рабочий порта,—чтобы провести сознательного в старосты. Помните нашего старосту после 1 мая и то, как он относился к своим обязанностям, совершенно забыв о рабочих интересах. Неужели же рабочие отнесутся халатно к выборам? Не будут стоять один за одного и все за одного?“

Разумеется, стихийность, примитивность, страх перед администрацией здесь чувствительнее, чем в союзе, просветительном обществе. И самым коллективам выжить, остаться на высоте труднее. Ни дисциплины, ни программы; наоборот, „искушения“ на каждом шагу. Однако, в годы упадка—одно, в годы подъема—другое. Когда сами массы активны, сами массы заражены бодростью, и страх не страшен, и контроль готов, и круг обязательств налицо. В дни 1-й думы вся масса стояла за этими органами. Выбирались всеобщим голосованием, вмешивались во все злобы дня предприятия, и предприниматели не могли не считаться с ними. Точно так же и сейчас. Силою вещей коллектив становился опорным пунктом.

Что закон плох, рабочая демократия знала. Знала, что и издан он был в противовес „развращающей“ пропаганде социал-демократии. Но как ни антидемократичен закон, как ни разъяснен или урезан, все-таки рабочий не забыл пророчества Пгр. о-ва фабрикантов и заводчиков, согласно которому доверяться мечте, что рабочие будут оставаться в каких-либо предписанных им границах, было бы большой ошибкой. Закон 4 марта из объекта пренебрежения уже превратился в опорный пункт,—чем хуже вопрос об органах фабричных? И демократия решала по своему.

В Колпине, напр., на Ижорском заводе, получивший большинство голосов не был утвержден администрацией. Администрация послала на утверждение другого кандидата, представителя меньшинства. Конечно, рабочие тут же потребовали,

чтобы он отказался, так как большинством не выбран. О Семянниковском комитете читаете: „приближаются новые выборы депутатов. Нам, рабочим, нужно подвести итог деятельности старых, что они сделали?“ „Чем был и чем стал некогда славный заводский комитет Семянниковского завода!“ Комитет Семянниковский, шедший в свое время впереди масс, в дни развала потерял всякий авторитет в глазах рабочих—вот живая иллюстрация недавнего прошлого. Но сейчас этому не бывать. „Сегодня выборы на 1913 г.—заявлял рабочий.—В день выборов хочется крикнуть рабочим, именно тем, которые из года в год выбирают депутатов для „смеха“: как может защищать рабочие интересы такой депутат, коли он и говорить-то связно не умеет!“ „Молчат рабочие, молчат и представители-депутаты,—вторил балтиец—это ли не преступление с вашей стороны, господа депутаты? Кто должен поднять вопрос о вопиющих фактах, как не ваша милость? Вы этого не сделали, значит, сидите не на своих местах“.

Кого же стремилась масса выбирать в 1912—16 гг.? „Депутат должен быть лучшим человеком мастерской, а если он бывает „с похмелья“, то каковы же те, кто его выбирает?“. „Те товарищи, на которых выпадает честь быть депутатами, пусть приложат все старания для защиты рабочих интересов“—вот мнения. Конечно, иные круги рабочих умывали руки вслед за выборами. Напр., на фабрике Шульц. „С выбором старосты у наших рабочих—сообщал рабочий фабрики—как бы свалилась их главная тяжелая задача с изнуренных плеч. Полагают, что теперь есть депутат, который будет защищать их интересы, и, значит, самим рабочим можно и в трактир пойти“. Нет, „поменьше надежд, а побольше самодеятельности. Каждый-мол вопрос, каждое требование совета пусть находит отклик в массе. Не надеждой пусть питаются рабочие, а сознанием, что „в единении—сила“.

В той же экспедиции заготовления государственных бумаг за прошлый год „совет сделал сравнительно много“. Были

организованы экскурсии за город и на выставки, научные лекции. Однако, „затрагивать совету вопросы крупные, как о прибылях, можно только заручившись поддержкой всех рабочих“. „Пусть же рабочие не питают надежд, что их кто-то облагодетельствует. Никакой совет им ничего один не даст. Вот, если рабочие дружно, как один человек, заявят о своих нуждах, то другое дело. И хозяин будет считаться, и можно будет чего-либо добиться“.

Цитаты эти типичны, характерны. Кажется, вчера еще выборы были «последним делом». Сегодня же общее напряжение: «теперь слово за нами, если вдумчиво отнесемся к выборам, то результаты будут хорошие». Конечно, во всей «конституции» ничего крупного, яркого еще меньше, чем в профессиональных союзах. Наоборот, будничное, обыденное бьет в глаза, но это-то в органах заводских не менее характерно, чем в союзной деятельности. И органы фабричного представительства превращаются в школу, где рабочий учится трудному делу — делу самоопределения. Конечно, это пока опыты, но ценно все то же: направление.

Вот, напр., ряд заводских комиссий, этих оригинальных форм заводского «самоуправления»,—наследие революционной эпохи, сохранившееся во многих местах,—или делегатские советы, союзные организации на местах. Как ни старалась администрация искоренить эти районные органы, фактически уже их не искоренишь. По отношению к союзу, к клубу, к просветительному обществу явочное от неявочного отличишь, а здесь? Легально или нелегально, открыто или полуоткрыто— все равно, работа шла.

Это—ячейки, сказал я, ячейки высших организаций. Как старые знакомые, рабочие поднимались отсюда вверх, в профессиональный союз или клуб; приносили первые навыки, чтобы переработать их в систему.

Детище фабричной конституции — страховая кампания. Общие собрания больничных касс, правления, уполномоченные для рассмотрения устава, представители рабочих в присутствиях,—все это те же организационные ячейки, которые тем или иным содержанием наполнить можно. Что дал страховой опыт в отношении организации?

Бойкот страхования прошел во многих местах, но местах приложения некультурных сил. Зато не оказалось ни одного передового завода, ни одной передовой группы рабочих, которая бы не объявила войну этому бойкоту. Между тем, пройди закон в 1906 г., можно ли быть уверенным, что бойкот не свил бы себе гнездо даже в профессиональных союзах! Но обратимся к фактам.

Как только собрания для рассмотрения страховых вопросов были запрещены, 20.000 петроградских рабочих объявили однодневную страховую забастовку, и выборы уполномоченных состоялись в обход правил. Выставлялись кандидаты, устраивались предвыборные собрания, и в уполномоченные прошли одни передовые. И вот уполномоченные 8 заводов устраивают собрание на основании правил 4 марта, на котором избирается центральный страховой орган петроградских рабочих для объединения работ отдельных заводов. Представительство рабочих в страховой совет и петроградское присутствие не прошло. Страхование проводили так, чтобы не дать рабочим сплотиться, связаться в компании. По слухам, предполагалось пригласить в совет выборщиков от рабочей курии, но так как выбранные оказались социал-демократами, то остановились на уполномоченных, и из числа их назначили пятерых в совет и двоих в присутствие. Но не тут-то было. Под давлением страхового коллектива, часть «назначенцев» сразу отклоняет приглашение, часть делает это после первых заседаний. И—что именно характерно — интерес массы, внимание массы к компании. Правда, на тех 8 заводах, где открылись первые больничные кассы, масса пассивно поддержала уполномоченных. Если бы масса сама добивалась представительства в совете, в присутствии; если бы масса сама поддержала рабочие по-

правки, потребовала одновременного открытия больничных касс,—был бы иной результат. Но интерес есть, интерес и—только. Все же здоровый фундамент организованного, планомерного строительства в страховом деле в Петрограде налицо.

Сделанные же в Петрограде завоевания явились опорным пунктом страховой кампании в России. Как ни пестра картина, то и дело рабочее классовое чутье родит влиятельные коллективы. В варшавском присутствии «назначенцы» сразу же, на первом заседании, оглашают протест и уходят. Организация групп рабочих, митинги на заводах, публичные собрания шли и на севере, и на юге, и в Царстве Польском, и на Кавказе, и в Северо-Западном крае, и в Приволжье. Разумеется, чем выше район по степени сознательности, тем активнее страховые организационные ячейки. Лучший пример—рабочие Донской области, организованные в ряд союзов. Бесспорно, исходя из этого, ростовская администрация не повторила петроградской истории с „назначенцами", а предложила рабочим выбрать собственных представителей. Так-то рабочие Донской области получили в лице их центральный страховой орган.

И опять-таки, что типично, это отношение массы. Бойкотистское настроение испарялось, как только проходило собрание. Пример—прядильная и ткацкая фабрика братьев Горбуновых (Середа, Костромской губ.): „Все-таки у нас масса говорит, что мы закон не примем, вычитать не дадим,—рассказывали рабочие,—но передовые рабочие их разубеждают. Объясняют закон, указывая вред такого отношения к делу. Благодаря энергии сознательных, выбор уполномоченных дал хорошие результаты". Преувеличивать сознательность нет нужды. Напр., большинство рабочих Брянского завода бойкотировали не только выборы уполномоченных, но и самый коллектив страховой. Во многих присутствиях „назначенцы" заседали, и рабочие не протестовали. Но, повторяю, новое смешано со старым, всюду смешано.

Пусть сотни тысяч еще оставались за стенами организации — даже самой примитивной; пусть мало и основная, и частичная возможность организационная использована была в данное время,—все же разветвлялись организационные пути. Вопрос тем острее, что промышленный подъем был непрочен: не отдельные фабриканты пугали расчетами, а капиталистический строй с его противоречивым циклом сам по себе „пошаливал". Краткие известия, сообщенные из Москвы, были не менее тревожны, чем лодзинская безработица. Надвигалось перепроизводство с его обычным результатом—промышленным кризисом. Промышленный же кризис для профессиональных союзов, для органов заводского самоуправления—яд. И нужно много сил, много опыта, чтобы сохранить то, что накоплено было за годы экономического подъема.

В промышленном мире начался будто „поворот" по отношению к рабочим организациям. Так, московское общество фабрикантов и заводчиков заявило, что предпочитает иметь дело с союзами, чем с движением стихийным, неорганизованным. Горный капитал что-то проронил о том же. По крайней мере, одна из секций съезда деятелей по горному делу, металлургии и машиностроению приняла резолюцию, гласящую, что для охраны труда рабочих необходимо признание свободы союзов. Но цена подобным заявлениям известна. Более, чем когда-либо, капитал чувствовал, что русский рабочий сознал себя отдельным классом, что он противопоставляет себя обществу именно в организации. И в то время как подписывалась резолюция о союзах, пресловутая конвенция, принятая в эти дни, агитировала: „не допускать постоянного представительства рабочих в виде депутатов, старост и т. п.". Не допускать вмешательства в прием и увольнение рабочих, в установление условий найма, в вопросы внутреннего распорядка и т. д. Объединенные промышленники даже против органов заводских, против закона о старостах, изданного 10 лет назад,—чего же ждать от „назревающего перелома" профессиональным союзам?

V.

Итак, мало демонстрации настроения. Рабочие не только стремятся, но и достигают, не только ставят цели, но и идут к их осуществлению. Значение имеет уже не форма, а содержание.

Однако, если совокупность реальных отношений толкает на путь постановки социально-экономических вопросов „по частям", то не грешит ли эта эволюция от стихийности к планомерности реформизмом? Не урезывается ли принцип, тот самый, который так жив в рабочей прессе? Ответ на этот вопрос—полоса съездов, как рабочих, так и общественных, в которых рабочая среда была представлена. В жизни каждой общественной группы съезды важны не только тем, что подводят итоги совершенной работы, но и тем, что поднимают итоги на принципиальную высоту. То же и в данном случае.

Съезды — тем лучший показатель, что имеют уже свою историю. Первым таким съездом (после 1905 г.), в котором рабочие приняли участие, был съезд общественный, именно съезд народных университетов. Идея собственно-рабочего—местного, областного и всероссийского объединения—перешла в действительность позднее. То были дни, когда либералы не имели еще ничего против того, чтобы рабочие выступали на них со своими требованиями, даже зазывали их. За съездом народных университетов следует московский кооперативный съезд. Далее съезды, наиболее яркие по выступлениям рабочих: женский, фабрично-заводских врачей и антиалкогольный—те легальные проявления активности, которые убедили гг. устроителей, что идиллия примирения труда с капиталом на съезде невозможна, приучила впредь закрывать двери перед рабочими.

Конечно, этого было недостаточно, чтобы рабочие перестали в них стучаться. И не только в них. Напр., представители союзов печатников, булочников, портняжного дела и

обработки волокнистых веществ явились в бюро по совещанию городских деятелей, потребовав права на участие в подготовительных работах по устройству всероссийской выставки по городскому хозяйству. Когда же отцы города указали им, что и сами сочувственно относятся к труду, рабочие ответили, что это звучит иронией. Они-мол ищут представительства не случайного, а представительства рабочих организаций. Тем более съезды—ремесленный, по борьбе с проституцией. Не были званы, пришли незваные, чтобы превратить известные секции в арену борьбы между рабочими и либералами в буквальном смысле слова. Вот, напр., первая секция съезда борьбы с проституцией: председатель—рабочий Павлов, докладчик—генерал Лескевич.

Достаточно взглянуть в отчеты, чтобы убедиться, какую работу проделывали 5 делегатов, раз только они пробились на съезд. Разумеется, работу „классовую": по всем вопросам, подлежащим обсуждению, выяснять публично мнение пролетариата. Мудрено ли, если выборы делегатов от профессиональных союзов на всероссийский съезд фабричных инспекторов по вопросу о введении государственного страхования рабочих уже были излишни (министерство „решительно" не пожелало их)? Однако, на съезде по женскому образованию, на съезде кооперативном работа шла.

Таким образом, участие рабочих в буржуазных съездах—отнюдь не участие западно-европейских рабочих. Не недостаток самосознания лежал в основе его, а все та же жажда открытой деятельности. „Мы пришли на ваш съезд,—говорил рабочий Орлов на ремесленном съезде,—потому что нам не дают самостоятельно обсуждать наши нужды". Роль общественных съездов для рабочей демократии росла.

Разумеется, это не ослабляло самостоятельных попыток. Наоборот, общественный съезд—лучший стимул для поисков самостоятельных путей. „Наше участие в съезде подтвердило лишь,— заявляли рабочие,—как энергично мы должны бороться

за право собирать свои рабочие съезды. Рабочие съезды для выяснения наших нужд—назревший для нас вопрос". Пусть отстаивать и защищать свои классовые интересы разрешается только имущим классам, рабочий не может не задумываться над самостоятельными путями. И, в самом деле, горнорабочие юга добивались съезда „для обсуждения мер борьбы с холерой"; московское общество портных—по предложению других организаций—всероссийского съезда портных, выработало уже программу, разослало всем союзам для внесения поправок. Не сходил с очереди дня и всероссийский съезд рабочих организаций по вопросу о проведении в жизнь страховых законов, и съезд профессиональных союзов, не говоря об областных и губернских съездах в промышленных центрах. Все это было в подготовительной стадии, но кое-что было и осуществлено. Формально ведь препятствий к созыву рабочих съездов нет. По закону рабочие права не лишены. И вот в Кубанской области состоялся областной съезд торгово-промышленных служащих, главная задача которого сводилась к подготовке материалов для всероссийского съезда приказчиков. Теперь же и приказчичий съезд нанес удар неизжитым иллюзиям отсталых слоев приказчичьей массы. Был и „женский день", организованный и проведенный не менее внушительно, чем любой съезд. Словом, запестрели столбцы рабочих изданий обращениями: „товарищи, еще работы много; время и место съезда не решены"; „в то время как организованный капитал наступает по всей линии, в Москве заседает съезд: довольно спать, приказчики"; „на съезде мы должны заявить, чего будем добиваться" и т. д.

Рабочая идея оформлялась двояко: и на съездах буржуазных, и на съездах рабочих. Что же это за идея? Ведь арена съезда—арена принципиальной борьбы. Нельзя не вспомнить аналогичных попыток рабочих представителей 1904—05 гг. И тогдашние организации намечали участие в съездах. Чего же добивались тогда рабочие? Демонстрации политических

требований. Одной демонстрации. Теперешнее участие в съездах отнюдь не таково. Это полоса организационного оформления рабочего класса, полоса конкретных задач, конкретных положений, благодаря которым и различные общественные элементы развертывались во всю. И лишь постольку принцип в 1912—16 гг. налицо, постольку эти задачи, эти положения вытекали из него.

Вот рабочие, представители обществ самообразования и профессиональных союзов, на съезде народных университетов. Они ведут ожесточенную войну с интеллигенцией, которая противится равноправному участию рабочих в руководительстве народными университетами.

Кто заявлял на съезде ремесленном: „наше участие в этом съезде, как и в съездах, происходивших прежде, служит показателем все возрастающего стремления рабочих открыто объединиться для отстаивания своих классовых интересов"? Рабочие-марксисты. Делегации женского съезда, съезда по борьбе с проституцией вызвали даже упреки в чрезмерной непримиримости по отношению к либерализму. В делегации съезда фабрично-заводских врачей преобладали „большевики" с депутатом Малиновским во главе. Какой бы съезд буржуазный ни взять, резко-полемические отношения вытекали из того, что на нем были не просто рабочие, не рабочие известного культурного уровня, а носители идеи своего класса. Конечно, марксист марксисту рознь. В роли рабочих руководителей, сплошь и рядом, приходится выступать рабочему-массовику, лишенному и определенных знаний, определенного опыта. Это было и в годы упадка, было и здесь, в кампании съездовской. То и дело, делегат не в силах обнять вопрос, и лишь участие в рабочих совещаниях его научно воспитывает. Однако, тенденция одна. Цвет—один.

Если же таковы делегаты буржуазных съездов, то съезд рабочий еще типичнее, еще ярче. Здесь, конечно, буржуазных элементов нет. Борьба сводится к соотношению сил чисто

рабочих. Но и среди рабочих были „умеренные“ с их лозунгом бережения мелочей, были и крайние, с лозунгами определенно классовыми. С этим приходится считаться, особенно имея в виду приказчичью среду, неорганизованную, стоящую в стороне от общепролетарского движения, в которой процесс классового самоопределения еще только начинается. И все же, что представлял собою состав приказчичьего съезда? Конечно, будь это съезд металлистов, печатников, профессиональных союзов, вообще, пролетариев фабрик и заводов, а не пролетариев прилавка, даже в такой стране, как Германия, являющихся еще объектом либерально-антисемитской демагогии, картина была бы иная. Но и здесь все же не задавало тон течение умеренное, представленное делегатами обществ взаимопомощи. Группа „беспартийных“, „профессионалистов“, придерживающихся того взгляда, что приказчики и их организации должны стоять в стороне от политической жизни, ограничиваясь чисто экономическими, чисто профессиональными интересами торговых служащих, была слаба. Преобладали именно элементы передовые, подчеркивавшие социально-экономическую общность пролетариата торгового и фабрично-заводского, группа „классовая“, политически оформленная, которая шаг за шагом разбивала скорлупу нейтрального практицизма. И это преобладание было настолько чувствительно, что даже президиум состоял из ее представителей. Даже „трудовики“ не занимали много места. И все это вопреки всем условиям, тянувшим приказчика на путь отделения от рабочего класса, на путь мелкой буржуазности.

Рабочий-съездовец сегодня—беспартийный, завтра будет партийным, сегодня—профессионалист, завтра будет марксистом.

Как же ставил, как решал вопрос рабочий-делегат? Выступал он уже не с резолюциями, не с возражениями общего характера. Нет, все докладчики—обстоятельные люди. На

съезде народных университетов рабочие докладывают о рабочих обществах самообразования, об отношениях профессиональных союзов к народным университетам; на женском съезде—об условиях женского труда, об охране труда женщин, о фабричных инспектрисах; на съезде фабричных врачей—по жилищному вопросу, о состоянии медицинской помощи. Ну, доклад, конечно, обязывает. Кто слышал доклад о жилищных условиях на нефтяных промыслах в Баку на съезде фабричных врачей или доклад Магистова на антиалкогольном съезде, составленный на основании анкеты, доклад портнихи Шиткиной на съезде по женскому образованию или доклад работницы Алексеевой в Калашниковской бирже, тот знает, как трезво, как детально подходили рабочие к своим отправным пунктам, прежде чем сделать общий вывод. Точно так же и марксистская группа приказчичьего съезда, не входившая ни в какие соглашения с профессионалистами, прежде чем выступить с резолюцией, провести ее, вообще, дать общую окраску съезду, дала ряд докладов, наметила ряд задач чисто практических, конечно, организующего характера. Таков план, такова „тактика“: сперва вопросы дня, близко задевающие массу, которые свяжут съезд миллионами нитей с этой массой, затем—„общее“, русло общей классовой борьбы, в свете которой вопросы и встают во всей силе.

Скажем, женский вопрос. Женщина и страхование, женщина и политика, защита детства и защита материнства, положение ремесленниц и общее ее положение—все важно, все полно значения в малейшей подробности, но в то же время все в словах работницы: „женщина будет праздновать свое освобождение в тот день, когда свое освобождение будет праздновать весь рабочий класс“. Или вопросы кооперации. Кооперация и бюджеты рабочих, кооперация рабочая и кооперация крестьянская, потребители и производители, дороговизна жизни и фальсификация продуктов, положение организации и положение служащих — опять-таки все дороги тут, но все

дороги ведут к общему: „кооперативное движение должно объединить однородные по классовому составу слои населения“. У рабочих „свои особые задачи, которые вытекают из общих условий существования рабочего класса“, значит, стремитесь „к созданию своего самостоятельного, независимого центрального союза“. И вопросы ремесла, и вопросы пьянства и проституции избороздили рабочую мысль. Цеховой уклад и система ученичества в связи с особым ремесленным законодательством; формы регламентации и благотворительные бирюльки; меры борьбы против народного недуга в России — небольшие это дела, не широкие задачи. Но—даже в форме паллиатива—все же интересуют рабочего делегата, ибо—вопреки придирчивому отношению президиума, вопреки драконовым мерам полиции, даже промахам самих рабочих — вопрос все-таки выростает во весь рост, все-таки принцип торжествует, обосновываются требования.

Лучшими фонарями рабочего миросозерцания были женский день и приказчичий съезд. „Буржуазные дамы упрекают нас,—говорила работница текстильной промышленности, —что мы из легкомыслия прибегаем к проституции. Нет, не из легкомыслия. Капитал стремится превратить работниц в машину... Опыт наших товарищей, работниц в Западной Европе, наглядно показывает нам“... и т. д. Съезд приказчиков показал, что даже право коалиции—основное требование, вне которого открытая деятельность не прививается—имеет значение не само по себе, что оно предполагает общую реформу.

Проводники рабочих взглядов и статистические начинания рабочих. Чувствуя полное отсутствие официальных данных, необходимость ознакомления с условиями труда, с культурно-просветительными и иными потребностями пролетариата, рабочие организации различного типа регистрировали членов, денежные взносы, безработных, юридическую помощь, выдачи книг из библиотек и пр. Сначала регистрация велась беспорядочно, но с течением времени из огромного материала,

добытого таким образом, создался ряд анкет и общих, и частных. На 1905 год падают 2 анкеты, на 1906—7, 1907—8; а вот 1908 г.—год социальной разрухи—уже дает 12 анкет. Вообще же, их до 1909 г. было общих 36, частных 24. Как развивалась новая, организованная рабочими статистика труда в России после 1909 г., показала гигиеническая выставка. Детская смертность среди фабрично-заводского и ремесленного населения Петрограда, причины пьянства среди рабочих, положение женского труда, труда печатников, булочников, конторщиков, приказчиков, деревообделочников,—все готовые разработанные анкеты; диаграммы по заработной плате, по стачкам, по учету численности рабочих—материалы, рисующие творческую деятельность рабочих в области рабочего движения. Словом, огромная работа и со стороны больших организаций, и со стороны мелких. И опять-таки характернее всего отношение массы. О чем говорит эта статистическая деятельность? Все о том же. Масса поняла ее ценность. Редко можно указать работу, которая бы так нуждалась в сотрудничестве массовика, как статистика. И что же? Вначале было известное недоверие, боязнь. Но очень скоро недоверие было рассеяно; наконец—в комиссиях, на собраниях, в товарищеских беседах — мысль о ценности коллективной работы облеклась в плоть и кровь. Конечно, анкета—прежде всего анкета, диаграмма—прежде всего диаграмма. Однако, взгляды анкетчиков не могут не сквозить сквозь цифры, сквозь прямые и кривые. Оттого-то эта сторона деятельности играла такую роль не только на выставке, но и на съездах. Рабочие подходили к выводам с цифрами в руках и, в свою очередь, к цифрам—со своими выводами.

Итак, профессиональные союзы, органы фабричного представительства, съезды,—везде процесс один. Постоянный отлив и прилив, но ядро неизменно. Процесс еще не обозначился,

еще находился в периоде образования, но уже закреплял себя, закреплял свое значение. И вот гарантия того, что он не на поверхности, что он шел в глубину: ряд имен, рабочих имен, имевшихся во всех промышленных центрах. Когда-то имена были достоянием кругов помещичьих, либеральных; теперь едва ли мы ошибемся, если скажем: и судьба рабочей общественности имен „искупительных" просит.

Рабочие подали голос за Малиновского не как за такового, а как за основателя и руководителя Пгр. союза металлистов: еще на съезде фабрично-заводских врачей он выступал одним из виднейших депутатов рабочей группы [1]). Депутат Ягелло был известен, как видный практик рабочего движения, депутат Петровский — как один из пионеров периода подполья, как председатель учредительной комиссии екатеринославского профессионального общества по металлу и т. д.

Конечно, депутаты — имена всероссийские. Но в каждом центре были и „свои" имена — конкретные образы того движения, которого участником уже состоит массовик. Вот Новиков, жизнерадостный молодой столяр, представлявший столяров на ремесленном съезде, прежде чем погибнуть в архангельском гиблом месте. Вот Никитин, с 1903 г. стоявший во главе организации, затем журнала „Металлист"; унес в могилу богатые ораторские способности. Вот Ефимов, сыгравший такую роль в известной кампании по созыву совещания бакинских рабочих с нефтепромышленниками; выступал и на съездах от союза нефтепромышленных рабочих. Вот Дарский, член комитета новороссийского железнодорожного союза, с конца 70-х годов принадлежавший к нелегальным кружкам. Вот Богушевич, с деятельностью которого связан кипучий период жизни союза печатников, устроитель артели переплетчиков, тоже крупной затеи. Вот Будзько, деятель прессы рабочей, Матвеев, член правления союза булочников...

[1]) Писано до разоблачения депутата.

Конечно, деятелей таких немного. Нельзя не подчеркнуть: медленно, очень медленно выдвигало движение таких людей. Но одно то, что эти беззаветные люди были, в каждом фабричном центре были, что чистая жизнь их покоряла сердца массы, которая шла за ними, высоко держа голову, — уже это ручательство того, что они множатся.

Рабочие-общественники мрут, рабочая же общественность не умирает.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Достаточно вспомнить то, что проводила после 1905 г. рабочая интеллигенция в быту, организациях, петициях, выступлениях экономического свойства, что отстаивал принципиально рабочий-журналист, рабочий-деятель разнообразнейших районов России, чтобы убедиться, что в области **внутренних** отношений национализм уклоном в нежелательную сторону не грозил. Одно дело — подъем национальных чувств, — то, что диктуют и классовые задачи пролетариата, и повседневная рабочая действительность, другое дело—междуплеменная вражда, являющаяся идеалом реакционных политических кругов. Начнем сводку фактов, подтверждающую нашу мысль, с дней, непосредственно предшествовавших войне.

I.

Со всех сторон старались втянуть рабочих в междуплеменную грызню, натравить русского на еврея, еврея на поляка и т. д.

О национальных чувствах еврейских фабрикантов Лодзи ничего не было слышно до стачки в 1913 г. в текстильной промышленности, вызвавшей необходимость в штрейкбрехерах. Но только началась стачка, со столбцов националистической „Лодзер Тагеблатт“ не сходит речь о гармонии между трудом и капиталом еврейским, гармонии, придуманной для борьбы со стачечным движением в текстильной промышленности, с целью

найти штрейкбрехеров, запугать бастующих рабочих. В самом деле, благодаря „Лодзер Тагеблатт“, воскликавшей: „проснулась, наконец, совесть еврейских фабрикантов“, у фабричных ворот появились шеренги забитых еврейских рабочих, и их демонстрировали перед поляками-забастовщиками. Еврейские фабриканты разыграли то, что им предписано было обществом объединенных фабрикантов гор. Лодзи. Передавая срочные заказы на фабрики, принадлежавшие еврейским капиталистам, с согласия последних, общество обязало своих членов заявить в еврейских газетах, что они решили заменить польских и прочих христианских рабочих своими „единоверцами-евреями“. При аналогичных условиях в Белостоке была проиграна забастовка прядильщиков и чистильщиков. Момент забастовки был выбран удачно: был разгар сезона. Однако, как на грех забастовка захватила вначале фабрики евреев; чистильщики же и прядильщики—повсюду христиане. Фабриканты и завопили о том, что забастовка эта — проявление проводимого в Польше бойкота евреев; укрывшись под этим флагом, фабриканты привлекли на свою сторону рабочих-евреев, выступивших в роли штрейкбрехеров. Например, на фабрике „Гальперин и Крикун“ трое рабочих вызвались заменить бастующих; у Гендлера рабочие чистили машину, чтобы пустить фабрику в ход... Благодаря капиталу, и в Киеве на ювелирной фабрике Маршака рабочие-христиане приняли рабочих-евреев за друзей хозяина-еврея и во время конфликта с хозяином винили во всем еврейских рабочих.

От фабрикантов не отставали их прислужники.

В 1912 г. рабочие П. Люмин, С. Куцько и П. Кириллов—члены совета „союза рабочих-националистов“—писали: „Нами руководит любовь к родине, но не корысть; мы надеемся, что рабочие скоро почуют русскую правду и всегда и всюду будут ее различать от правды социал-демократов“. Но кто за ними стоял? „Член собрания представителей всероссийского национального союза Г. П. Снежков“, по их собственному признанию, тот Снежков, имя которого произносили в связи с киевским погромом. Подобная же организация появилась в Варшаве в дни „бойкота евреев“. Выступая под кличкой „польской народной партии“, она противопоставляла социализму антисемитскую травлю, исходя из того, что „теория жида Маркса“ не более как орудие в руках евреев для порабощения поляков, что социалисты толкали польских рабочих на каторгу, на виселицу. Но кто же призывал вносить по три рубля в фонд для бойкота еврейских лавок? Кто обещал даже „производительные кооперативы“, которые „избавят рабочих от власти капитала? Те же Снежковы—только польской марки.

Что же это за рабочие? „Зайдите в Балут (окраина города Лодзи), — предлагает рабочий-корреспондент.—Посмотрите на эти мрачные домики, где мерзнут сотни еврейских рабочих со своими семьями, умирающими из-за куска хлеба. Посмотрите в эти черные измученные лица, на эти исхудалые тела, подвергающиеся всякой болезни. Это—что ни на есть темнота“. До чего велика темнота в Киеве, Белостоке, видно из того, что здесь „доходит до драки между рабочими евреями и христианами, так как последние не дают первым предлагать свой труд“.

Это—шовинизм людей, которые еще так бедны социальным опытом. Вот рабочие, указывающие короткие пути к открытию общества рабочих булочников и кондитеров г. Лодзи.—„Нам поможет администрация“,—говорили они и собрались у жандармского офицера. Он звал к себе и хозяев, велел удовлетворить требования рабочих, устроил постоянный третейский суд. Он же помог выработать устав; союз должен быть непременно еврейским, а не общим. Хозяева закрепили близость с собой, учредив особый еврейский пекарский цех [1]).

Вот общество приказчиков-евреев в Варшаве, которым так восторгались прогрессивные антисемиты из „Нова Газета“ и

[1]) „Голос Булочника и Кондитера“ от 6 октября 1912 г.

„Израелита“. Заправилы общества сумели провести кампанию по вопросу о запрещении членам общества пользоваться еврейским языком. Но задачи приказчиков всей России не существуют для него. Вот общество приказчиков-христиан в Киеве, подразделяющее взаимопомощь по религиозным и национальным признакам. 90% приказчиков в Киеве—евреи. Но пролетариям, входящим в „христианский“ союз, дела нет до того, что эти 90% бесправны, что их могут выселить, оставить без куска хлеба каждую минуту. Вот латыши, заменяющие забастовавших финнов в Баку. Бакинское латышское общество очутилось на этой ступени. „Вы, быть может, думаете, что представители общества всеми силами старались избавиться от этих подонков,—пишет рабочий-корреспондент.—„Нет“ [1]).

Если в остальных слоях рабочих народовцы противопоставляли даже рабочим союзам, руководившим экономической борьбой пролетариата, особые союзы „польские“, противодействовавшие первым в тех случаях, когда ими руководили социалисты, то на-ряду с этим имели место и националистические шатания другого свойства.

В Варшаве, напр., „Торговый служащий“—орган приказчиков-евреев—вышел как раз в момент призывов к травле евреев. „В таких серьезных обстоятельствах обязанностью сознательного пролетария, а тем более пролетарского журнала,—отмечал рабочий,—является проповедь солидарности пролетариев всех национальностей. К сожалению, просмотрев №№ 1, 2 и 3, не находим ни одной статьи или заметки на указанную тему. Наоборот, в журнале выражены националистические тенденции. В Польше среди торговых служащих существует несколько союзов, и в каждом из них либо одни поляки, либо одни евреи. Исключения редки. Именно сюда и следовало направить усилия пролетарской мысли, но журнал этого не делает“ [2]).

---

[1]) „Голос Булочника и Кондитера“, № 11—1911 г.
[2]) „Вестник Приказчика“ № 17—1924 г.

Газета же „Цайт“ еврейским рабочим и приказчикам старалась внушить, будто „Вестник Приказчика“ замолчал тот факт, что евреи-приказчики не были допущены на московский приказчичий съезд. „К чему понадобилась эти националистические натравливания на русских приказчиков и их журнал?—отмечал приказчик.—Ведь пролетарии из „Цайт“ отлично знают, что именно марксисты, сплотившиеся вокруг „Вестника Приказчика“ в Москве (и до съезда), наиболее решительно и резко выступили против требования удаления евреев. Ведь шовинизм остается шовинизмом не только тогда, когда его раздувает Пуришкевич, но и тогда, когда на больных струнках людей, принадлежащих к угнетенной национальности, играют господа из „Цайт“.

Это не жертвы гг. Снежковых. Это—национализм, который родит национальный гнет. Подобно тому, как жертва г. Снежкова думает: „дай-ка я раньше с жидом разделаюсь, а потом уже и со своим справлюсь“, рабочий-сионист прежде смотрит на себя, как на еврея, а потом уже, как на пролетария.

Однако, внутренняя борьба нигде так не лишена почвы, как здесь, в среде рабочего класса, в состав которого входят представители всех наций, все вместе нуждающиеся в том, чтобы борьба шла дружно. „Как разнообразны национальности, населяющие Кавказ,—сообщает рабочий-кавказец,—так же разноплеменна и рабочая масса края“. Если рассмотреть состав рабочих по нациям в 1904—05 гг., то окажется, что предприниматели нанимали рабочих своей нации: армяне держали армян, татары—татар, русские—русских и т. д. Такое однообразие массы способствовало сплочению ее при забастовках в отдельных предприятиях, почему и движение того времени у нас носило характер национальный (в тесном смысле слова). Предприниматели смешали национальности, дабы этим расстроить силы рабочих.

Вся надежда капитала тогда обратилась на рабочих-персов, самых некультурных. Но забастовочное движение

1913 г. учило другому. Не было хотя бы единого случая заторможения этого движения со стороны персов. Случаев не перечтешь, когда персы последние деньги свои раздавали товарищам из другой нации только для того, чтобы поддержать забастовку [1]). Не было потому, что достаточно первого „урока", чтобы масса убедилась, что национальная политика, идущая под флагом „разделяй и властвуй",—одно из орудий для борьбы с ней же. Именно забастовка поляков-печатников в Вильне нанесла удар местным польским клерикальным кругам, находившим себе до тех пор благоприятную почву для пропаганды своих шовинистических, национальных идей.

„Польская буржуазия до момента забастовки, — пишет „виленский пролетарий",—пользовалась всяким подходящим и неподходящим случаем заявлять во всеуслышание о совершенной лойяльности польских рабочих, не в пример еврейским, об их преданности религии, об их органическом отвращении к безбожным социалистическим идеям, об их благоговейных чувствах к священному праву собственности и т. д., и т. д. Но вот происходит забастовка, которая вырывает пропасть между хозяевами и рабочими и, наоборот, сближает рабочих различных национальностей" [2]). Рижская забастовка вбила в голову остальных рабочих ту же истину: в классовой борьбе нет эллина, нет иудея.

Стачке рабочих нанесен был удар высылкой еврейских рабочих. Словом, если в отсталых слоях разжечь рознь удается; если часть рабочих национальный гнет приковал к польской, еврейской, армянской буржуазии, которая внушила ей ложную мысль об общности интересов имущих и неимущих, то в результате эти рабочие у разбитого корыта даже тогда, когда травля направлена... не против них самих. В течение четверти века евреи фактически владели шахтами в Екатеринославской

---

[1]) „Северная Рабочая Газета", № 63—1914 г.
[2]) Ibid.

губернии. Вдруг следует разъяснение о недопущении евреев в акционерные компании, 51 шахту закрывают, и пять тысяч рабочих да 2—3 тысячи крестьян, занимающихся возкой угля,—без работы.

Внутренние пружины капитализма быстро здесь выступают наружу.

II.

„Пролетариат знает, что делать, националистические учители не найдут дороги в его среду"; „русские рабочие братски подадут руку рабочим-евреям",—писали рабочие. И, в самом деле, уже вопрос еврейский—самый острый вопрос—иллюстрировал настроение рабочей интеллигенции тех дней очень ярко.

Если разногласие имело место, то это — разногласие взглядов. „Две недели тому назад к нам на фабрику пришел какой-то молодой человек,—жаловались рабочие механического производства обуви (11 подписей), — принес нам какую-то резолюцию. В резолюции говорится о страданиях еврейского народа и еврейского пролетариата, о том, что евреям нужны еврейские представители и т. п. Под резолюцией громкая подпись: „социал-демократическая рабочая партия". Вполне понятно, что мы отказались подписаться под такой постыдной резолюцией. Мотивировали мы свой отказ тем, что мы, как часть пролетариата России и Польши, не можем выставить таких шовинистических требований. Указывали мы, что представители наши, с.-д. депутаты, являются не только защитниками русских или польских рабочих, а защитниками всех рабочих, всех угнетенных. Затем выразили удивление и возмущение по поводу того, что с.-д. рабочая партия может выставить такие шовинистические лозунги. Тогда молодой человек объяснил нам, что он прислан с.-д. рабочей организацией Поалей Сион. Конечно, мы потребовали от него, чтобы он разъяснил тем рабочим, которые уже подписались, какая

это его с.-д. партия,—в противном случае сами известим об этом рабочих. Энергично протестуем против таких резолюций, которые имеют целью разъединить пролетариат, сделать из целого части, ввести в ряды пролетариата шовинизм“ [1]). Другой упрек—упрек приказчика евреям-приказчикам, еще недавно увлекавшим своей энергией, теперь же пассивным как раз перед съездом, когда так нужен организационный опыт.

„Почему еврейские приказчики молчат тогда, когда им следовало бы говорить, говорить громко на всю Россию также и о своем положении?—читаете вы.—Нужды еврейских приказчиков не менее велики, чем всей остальной приказчичьей России. Они еще яснее и ощутительнее чувствуются в атмосфере национального бесправия, шовинистической дикости, гнета черты оседлости. Голос еврейских приказчиков должен раздаться наряду с их русскими и другими товарищами. Помните, что только в единении всех пролетариев прилавка без различия религий и национальностей—сила и мощь приказчичьего движения“ [2]).

Вот, что услышите по тому или иному поводу. Но в то же время нет проявления антисемитизма, сколько-нибудь бьющего в глаза, на которое бы рабочая демократия не стала реагировать доступными ей средствами. Когда Бейлису выпал жребий быть искупительной жертвой националистических „успехов“, рабочий-депутат Петровский взывал: „Мы уже знаем о многочисленных протестах пролетариата разных наций против новой затеи русской реакции. Российский пролетариат в силу жизненных условий стоит всегда на страже всей русской культуры и прогресса. Нужно думать, что и эта затея над евреями без ответа не останется. Теперь я обращаюсь к своим избирателям и товарищам, с которыми мы, во дни еврейских погромов, бессильно старались предотвратить

[1]) „Луч“, № 133—1913 г.
[2]) „Вестник Приказчика“, № 6—1913 г.

погром. В том, что этот навет не коснется сознания русского народа, нет сомнения. Но отбросы и невежественная часть населения еще, может быть, будут сбиты с толку. Товарищи рабочие, выносите свои мнения на страницы рабочей печати, помогайте остальным слоям разобраться в том, зачем и кем создано это дело—дело Бейлиса“. И вот—отклики фабрик и заводов.

„Какое дело русским рабочим до киевского еврея, обвиняемого в убийстве христианского мальчика!“—подъезжало „Новое Время“. Но никакие подвохи забастовок-протестов рабочих-христиан предотвратить не могли. „На скамье подсудимых в лице Бейлиса,—заявили 135 рабочих в своей резолюции,—сидела русская культура, которой темные силы готовились нанести смертельный удар перед лицом цивилизованного мира. Нанести смертельный удар русской культуре они захотели руками простого русского человека—пахаря, взятого непосредственно от сохи. Но мужичек этот, родной брат русского рабочего, показал всему культурному миру, что русский народ, вышедший хотя и недавно из пеленок своего развития, уже приобщился к культуре европейских рабочих. Мы, рабочие завода Семенова, являющиеся частью авангарда в борьбе с темными силами, заявляем: никакие темные силы не затемнят нашего классового самосознания. Пусть они не забывают, что для рабочего класса нет ни эллина, ни иудея“. 92 рабочих Путиловского завода протестовали против навета, „как отвлекающего внимание народных масс от истинных причин их бедствий“. 63 рабочих-кавказца писали с.-д. фракции о том же: „реакции нужно воскресить средневековую легенду, чтобы отвести внимание от главного и направить темные массы населения на представителей наиболее бесправной и обездоленной еврейской нации“. Даже рабочие-евреи протестовали не как евреи, а как рабочие. В Гомеле, в Витебске, в Вильне портные, сапожники, столяры, переплетчики, перчаточники, заготовщики, чулочники, булочники, шапочники, маляры, мясники, кожевен-

ники, несколько фабрик протестовали так же, как пинские рабочие, приславшие свою резолюцию депутату Бадаеву „против близорукости трусливой политики еврейской буржуазии, умалчивающей об основных причинах киевского дела“.

„Мы, члены профессионального общества по выделке кожи“, „мы, рабочие футлярной мастерской Геденштрема“, „мы, рабочие завода Электромеханик“, „группа рабочих-деревообделочников“, „мы, рабочие-булочники“, „рабочие Вулкана“, „рабочие-путиловцы“... мелькало в рабочих газетах, профессиональных журналах, и волна шла из Питера, из Москвы, из провинциальных центров, все наростая и наростая. Одна забастовка-протест против приговора над 25 адвокатами, вынесшими резолюцию по делу Бейлиса, охватила заводы Лангензипена, Парвиайнена, Вулкан, Семенова, Пузырева, Экваль, Струга, Охта, Вяземского, Лесснер, Речкина, Невскую ман-ру, фабрики Гофмана, Седова, Грусмана, Мельцера, типографии „Строитель“, Лурье, Сестрорецкий оружейный завод и пр., т.-е. в одной столице бастовало 10.000 рабочих. Конечно, резолюция адвокатов не казалась рабочим откровением. Эта резолюция лишь отчасти отразила то, что до нее сказали сотни рабочих заводов, шедших гораздо дальше. Но это был протест против антисемитизма, откликом которого явился процесс адвокатов.

Скажете: дело Бейлиса слишком выходило из ряда вон. Но вот факт прямо мелкий по сравнению с этим делом: евреи-приказчики не были допущены на всероссийский приказчичий съезд. Кажется, пролетарий прилавка труднее всего поддается влиянию пролетарских организаций, легче всего проникается духом мещанства. Однако, когда группа приказчиков гор. Минска обратилась к инициаторам съезда с просьбой добиться отмены этого пункта, так как „попытка внесения духа национального обособления в наши пролетарские ряды должна встретить энергичный протест со стороны приказчиков всей России“, то на это откликнулись не только инициаторы, но

и приказчики всей России еще до съезда. „Мы, торгово-промышленные служащие,—писали приказчики-евреи Бердянска, Гродны и пр.,—знаем хорошо, что это вносит в среду торгово-промышленных служащих национальную рознь и дезорганизацию; что это может подорвать авторитет и доверие к нему со стороны широких масс“. Необходимо, конечно, организациям торгово-промышленных служащих, без различия национального их состава, воздержаться от бойкота, подсказанного вполне понятным чувством. (В Одессе делегат конторщиков, христианин Вонсик, отказался поехать на съезд, так как правильная работа при таких стеснениях евреев невозможна). „Но хлопочите“... После ряда заявлений министерство внутренних дел разрешило евреям, членам съезда, проживать в Москве во время заседаний съезда. Но—вопреки разрешению министерства—московский градоначальник все же „разъясняет“, что лица иудейского вероисповедания не могут участвовать в съезде, если права жительства в Москве не имеют. И вот опять дело еврейских приказчиков есть дело пролетариата всей страны. В большинстве обществ, других учреждений приказчичьих был поднят вопрос об евреях-делегатах. Докладчик публичного собрания торговых служащих в зале Калашниковской биржи, характеризовавший запрещение евреям-делегатам въезда в Москву, „как обреченную на неудачу попытку расколоть приказчиков евреев и христиан на 2 лагеря“, вызвал единодушные аплодисменты. Если раньше протест шел против того, что правительство „не дало возможности еврейским союзам приготовиться к съезду“, то теперь вопрос ставится шире. „Для того чтобы внести раскол в среду торгово-промышленного пролетариата, разбить его на враждующие национальные группы и тем самым подорвать значение съезда в глазах широких пролетарских масс,—заявляла „группа конторщиков Петрограда“,—администрация не остановилась перед недопущением на съезд значительной части представителей еврейского торгово-промышленного пролетариата“. „Мы,

нижеподписавшиеся, заявляем, что делегаты должны призывать приказчиков всех национальностей к единению, к основанию классовых организаций торговых служащих, куда бы могли вступать все приказчики без различия наций, вероисповеданий"— в один голос предлагали и прг. общество приказчиков-мануфактуристов, и московское и уфимское общество вспомоществования труду, и общество торгово-промышленных служащих Бахмута, и целый ряд других организаций. Когда же после того стал на очередь съезд рабочих-портных, то с разных сторон заговорили о том, чтобы съезд был созван в таком месте, где могли бы проживать делегаты-евреи. „Участие делегатов от евреев на съезде тем более необходимо,— писал рабочий-портной,—что съезд явится тем могучим фактором, который послужит объединению всех рабочих-портных, живущих в России. Мы видим, что наши хозяева не дремлют, что они организуются в дружную семью без различия национальностей всюду, где только возможно, а в тех городах, где есть рабочие-евреи, пользуются их бесправием. Даже те хозяева, которые любовались травлей евреев во время процесса Бейлиса в Киеве, совместно с хозяевами-евреями на своих собраниях выносили резолюции против рабочих" [1]).

Вспомним и поход против евреев в Польше. В то время как телеграф приносил известия о массовых увольнениях служащих-евреев, о бойкоте еврейских магазинов, образовании специальных организаций для проведения его, националистическая печать Польши изображала бойкот, как всепольский. Однако, как раз в разгар травли евреи-рабочие, выбиравшие Ягелло в думу,—рабочие фабрик Пинса, Зандберга, Апнас, Хабеса, собрание сапожников, делегаты пуговичников, металлистов, приказчиков—наказывали: „Мы верим, что вы, как олицетворение единства еврейского и польского пролетариата, будете помнить о наших нуждах. Пусть будет ваша деятельность плодотворна для интересов рабочего класса. Братски

[1]) „Вестник Портных", № 6—7 1914 г.

жмем вашу руку". Со своей стороны Ягелло, едва распронились слухи о готовившемся погроме в Варшаве,—слухи, обеспокоившие петроградских рабочих,—заявил им: „Различные группы польских рабочих обращались ко мне с предложением опровергнуть путем печати эти слухи и от их имени указать русским товарищам на фактическое положение дел в Польше. Современное антисемитское настроение проникло, действительно, почти во все слои мещанства, но рабочих масс оно коснулось лишь в самой слабой степени. Погром в Варшаве—вещь совершенно немыслимая, и если бы обнаружились малейшие попытки погрома, рабочая масса сумела бы уничтожить такую провокацию в самом зародыше. Но польские рабочие ничего о подобных действиях не знают и просят разъяснить их товарищам ошибку".

Конечно, взбаломученные польскими „панами" темные рабочие устраивали поножовщину, убивая подчас социал-демократических ораторов. Но то были подонки, против которых единодушный вопль рвался из груди польских рабочих. В 1913 г. в Варшаве был убит поляк-рабочий, пытавшийся защитить еврейскую торговку от антесемитов-хулиганов [1])—вот факт, преисполненный значения. Солидарность, выражающую не борьбу наций, а борьбу классов, демонстрировали уже выборы уполномоченных-рабочих. В Лодзи и в Варшаве уполномоченные от рабочих поляков сознательно выбрали в число выборщиков представителей еврейского пролетариата, обманув тем самым ожидания буржуазии, пытавшейся увлечь рабочих на путь антисемитизма и клерикализма. Солидарность демонстрировали и поляки-рабочие 21 завода в количестве 3.608 рабочих, протестовавших против законопроекта о городском самоуправлении Польши. „Такое урезание прав евреев—писали они в с.-д. фракцию—создает почву для яростной борьбы националистов с обеих сторон и еще усилит ту черносотенную травлю, которая ведется ныне в польских городах. А это

[1]) „Трудовой Голос", № 11—1913 г.

опять таки может лишь повредить классовому сознанию польских и еврейских рабочих и их братской борьбе против капитала и реакции". Наконец, согласно анкете, предпринятой „Zycie Warszaie", органом прогрессивных польских рабочих, из полученных 3.000 ответов рабочих о бойкоте евреев только один высказался за. То же сказалось в общем собрании VI отдела общества польской культуры, действующего в рабочем районе и состоящего исключительно из рабочих. Собрание подчеркнуло, что польский пролетариат не даст себя втянуть в антиеврейскую кампанию, выгодную лишь верхам.

Итак, по отношению к евреям подогреть пережитки фанатизма было легче всего. Но долг чести рабочей интеллигенции, первое дело ее не обходить молчанием ни одного проявления этого рода. Предо мной, как живая, группа рабочих с белорусским поэтом, кожевенником Тишкой Гартным во главе, предупреждавшая на моих глазах в 1905 г. погром еврейский в м. Копыле, Минской губ. Достаточно было увидеть эту настойчивость, чтобы сказать: нет, нечистым средством пролетариата разных наций—самого угнетенного класса общества—не расщепить.

III.

Одни и те же интересы, один и тот же путь перед пролетариями разных наций. Где гонят рабочего—финна, латыша, грузина, мусульманина, поляка—там гонят пролетария вообще, и полное единение рабочих всех наций било в глаза всюду, где только имел влияние—на фабрике ли, на заводе, за прилавком—рабочий-интеллигент.

Нельзя было ждать единения в каком-нибудь Мургульском ущелье. „Из 2.000 постоянных рабочих,—описывал рабочий-корреспондент Мургульские заводы,—большинство не русские подданные. Из русских подданных довольно много грузин-мусульман. Главную же массу составляют персияне и турки—элемент, который всегда и всем доволен. Грузины

культурнее персов, но это—культура религиозная. 500-летнее служение Магомету их превратило в фанатиков, спасения ждущих только на том свете. Более культурный элемент—русские и грузины. Но в общем—забитость, апатия,—значит, национальная проблема еще не для их сознания". Однако, только зародились ячейки движения—необходимость единения пролетариев всех наций уже ясна. Сам „инородец"-пролетарий тянется к пролетарию-русаку. „Ничто не могло пробудить бакинских рабочих от обуявшей их спячки,—сообщает рабочий-корреспондент.—Главная причина в том, что мусульманская масса, которая составляет большинство в Баку, совершенно отделена от русского рабочего движения вследствие незнания русского языка. Издание рабочей газеты на понятном для мусульман языке совершенно невозможно за полным отсутствием здесь марксистской мусульманской интеллигенции. Более передовые рабочие лишены возможности общения с мусульманами, что парализует все их начинания" [1]). Но вот общение началось, и все преобразилось. Мусульманская масса потянулась к русской неотразимо. „Выход один, по моему—пишет другой рабочий-мусульманин,—присоединиться к союзу и рука об руку с русскими бороться против эксплоатации нефтепромышленников, хотя и мусульман". „Главная задача сознательных рабочих—освободиться от старых предрассудков, пробудить к сознанию всех трудящихся рабов капитала,—обращается рабочий-эстонец „к товарищам-эстонцам".—Но не все рабочие-эстонцы сознали свои интересы. Они говорят: „мы господа-подмастерья и с мужиками дела иметь не хотим. Мы учились у господ-хозяев, немцев, по 3 и 4 года, а вы? Вы—мужики, вы не учились, вы—черная кость, а мы—белая". Товарищи-эстонцы, это позорно. Пора нам итти вместе со всеми рабочими мира. Несмотря на то, что мы „инородцы", у рабочего класса нет нации, и пролетарии всех наций

[1]) „Живая Жизнь", № 19—1913 г., и „Гудок", № 43—1908 г. (Орган профессионального движения бакинских рабочих).

соединяются в одну семью" [1]). Подобно этому и рабочий-татарин обращается „к татарам-рабочим": „Мы должны брать пример с русских товарищей-рабочих,—пишет и он в своем воззвании.—Ведь среди нас много грамотных по-русски, и число таковых растет все больше и больше. Поэтому я обращаюсь ко всем, понимающим русский язык, татарам: объединимся вокруг „Правды". Эта газета защищает интересы не только русских рабочих, но всех пролетариев без различия национальностей. Интересы рабочих,—кто бы он ни был, русский, еврей, или татарин,—одни и те же. Хозяин—русский или татарин—одинаково нас эксплоатирует. Протянем же руку в борьбе такому же рабочему русскому. Все грамотные по-русски, подписывайтесь на „Правду", переводите, что в ней написано на татарский язык непонимающим рабочим" [2]). В то время как интеллигенты из „Дзвина" из кожи лезут, стараясь отклонить украинских рабочих от великорусских, украинские рабочие откликаются на призыв к единой работе, подобный призыву Оксена Лола. Белорусс-кожевник говорит рабочим других наций: „Поэты и беллетристы, произведения которых появляются в „Нашей Ниве", „Маладой Белоруси" и выходят отдельными книжками, почти все вышли из трудового народа. Вот, например, Янка Купала—бывший батрак, Тишка Гартны—кожевенный рабочий, Галубок—железнодорожник, Алесь Гарун—столяр, А. Гурло—слесарь и т. д. Оттого и творчество их проникнуто глубоким демократизмом, любовью к трудовому народу и желанием всю душу отдать родине".

Обращение рабочих-„инородцев" к пролетариату России подчас носило характер весьма ответственный. Когда в Лодзи фабриканты один за другим,—очевидно, по уговору,—ответили локаутом на требования рабочих о повышении заработной

[1]) „Жизнь Пекарей", № 1—1914 г. „К товарищам-эстонцам—Открытое письмо".

[2]) „Правда", № 20—1913 г.

платы, рабочий-депутат Ягелло обратился к русским рабочим с таким предложением: „привыкшие к конкуренции друг с другом, к взаимной борьбе национальностей, фабриканты не учли одного: силы рабочей солидарности, которая не только связывает всех рабочих Лодзи, но и превращает дело польских рабочих в дело рабочих всех национальностей, населяющих Россию. К этому чувству солидарности я и обращаюсь, товарищи! Поддержите лодзинских рабочих в их тяжелой, отчаянной борьбе! Этой поддержкой вы не только спасете их и их семьи от голода, но нанесете еще один мощный удар националистической проповеди, которая старается разъединить все народы России, чтобы на всех надеть свое ярмо". Когда фракция раскололась, рабочие коллектива Варшавы и Лодзи писали: „Выскажитесь же и вы, польские рабочие, как это сделали ваши русские братья. Покажите, что за рабочими депутатами стоят пролетарские массы, что на их зов отзывается громовым эхом рабочий народ на всем пространстве Польши и России". Когда в государственную думу поступил законопроект о повышении хлебных пошлин на перевозимый из-заграницы в Финляндию хлеб, представители финляндского пролетариата обратились к рабочим-депутатам с аналогичным обращением: „Стремления финляндского пролетариата к более высокой материальной и духовной культуре встретили бы, благодаря этому налогу, значительное затруднение, а. кроме того, и русскому пролетариату не было бы от этих пошлин никакой пользы,—заявляли они.—Они принесли бы пользу лишь небольшой группе капиталистов, которые и ухватились за это нарушающее право финского народа средство. Уже в прошлом году пролетариат протестовал против таких намерений. В этом году по всей стране было устроено в один день 600 демонстративных собраний, в которых участвовало всего 70.000 человек. На-днях же сейм единогласно решил обратиться к правительству с петицией об отклонении проекта хлебных пошлин. Мы желали доставить

вам, товарищи, эти сведения, будучи уверены в том, что вы, обсудив вопрос, будете, без сомнения, против этого проекта хлебных пошлин, столь пагубного финляндскому пролетариату".

Пролетарий угнетенных наций утверждал свое единство с пролетариатом России, оплотом против человеконенавистничества, откуда бы оно ни исходило, а рабочий интеллигент России пользовался, в свою очередь, каждым случаем, чтобы показать, что это не ошибка, что он стоит на страже культуры без недомолвок, столь обычных у интеллигентов привилегированных кругов.

„С чувством удовлетворения мы приняли избрание депутатом по рабочей курии в Москве польского рабочего, товарища Малиновского, — заявляли 25 представителей, выбранных на общегородское совещание из разных районов, социал-демократической фракции. — Всех сознательных пролетариев должен порадовать этот факт избрания социал-демократа-поляка русскими рабочими в самом сердце России, как триумф международного братства пролетариата. Избрание Малиновского является нравственной пощечиной для националистических подстрекателей, как польских, так и русских, старающихся разорвать солидарность пролетариата разжиганием национальных страстей". Группа мариупольских рабочих, приветствуя депутата Ягелло, писала: „Приветствуем в вашем лице впервые вступающего в государственную думу депутата от наших польских товарищей, с представителями которых нам часто приходится здесь работать бок-о-бок над созданием чужого богатства. Нам радостно думать, что вы—наш разноплеменный депутат—также дружно бок-о-бок будете работать в государственной думе над созданием лучшего будущего, принадлежащего всему рабочему классу. В вашем лице не только рабочие, но и все бесправное население Царства Польского и Литвы найдет своего истинного представителя и борца. До сих пор в стенах думы не было слышно голоса

польского народа: там звучал лишь голос господ Дмовских". Конечно, рабочие-депутаты не обманывали этих ожиданий. „Украинская Жизнь" как-то упрекнула депутата Петровского, что, взяв наказ защищать демократические интересы украинского народа, он отложил эту защиту на неопределенное время. На это Петровский резонно ответил, что никто не выступал так ярко и последовательно в защиту угнетенных наций — украинцев в том числе — как рабочие-депутаты. Вспомните запрос о чествовании Шевченко, армянский вопрос в думе.

От кого бы разжигание розни ни исходило, кампания, опирающаяся на пассивность отсталых масс, разбивалась об отпор рабочей интеллигенции. В 1913 — 14 гг. основным камнем национальной политики дальневосточной—забайкальской и амурской—стал вопрос о желтом труде, о труде китайцев и корейцев.

Администрации захотелось вдруг выступить в роли защитников русских рабочих, вытесняемых дешевым китайским трудом, и вот попытка привлечь на сторону травли „азиатов" и сибиряков-рабочих, попытка, предпринятая заведывающим переселенческим бюро при переселенческом правлении Григорьевым. Справедливость требует отметить, что ложная надежда поколебала-было правление благовещенского профессионального общества плотников. Но плотники—отсталый элемент пролетариата. Стоило войти в комиссию, образованную г. Григорьевым, представителям других профессиональных обществ Благовещенска, чтобы картина резко изменилась. Напрасно г. Григорьев пытался привлечь на свою сторону рабочих кое-какими обещаниями. Представители профессиональных союзов заговорили не об отличии белых рабочих от желтых, а об интересах труда и капитала. „Нам сейчас только сказали, что политика правительства по отношению к нашей далекой окраине: „Приамурье для русских",—говорили ораторы-рабочие.—Но мы не должны забывать, что эта песня совсем

не новая, что в свое время, когда было гонение на поляков и другие национальности в Европейской России, правительство также заявляло: „Россия для русских“. А когда рабочие на этой самой окраине вынуждены были заявить об улучшении своего положения, то для всех известно, как с ними поступили. И это было там, где конкуренция желтых совершенно отсутствовала. Не ясно ли из этого следует, что не в конкуренции желтых заключается причина тяжелого положения рабочих? „В результате, принимая во внимание, что в основе работы данной комиссии мы, представители профессиональных организаций металлистов, печатников, плотников, приказчиков и др. профессий, принципиально расходимся с представителем бюро г. Григорьевым, мы не считаем возможным работать в данной комиссии и из нее выходим“.

В таком же положении, как китайцы и корейцы в Сибири, находятся сотни и тысячи рабочих, переселившихся на заработки в Финляндию. Экономическая нужда заставляет рабочих одной страны переселяться в другую, с более высокой заработной платой. Но вот, что сопутствует этому: „Известно уже и русским булочникам,—пишет пекарь-корреспондент,—что в Финляндии установлен законом 8-ми-часовой рабочий день, и также отменен ночной труд. Но наши русские булочники не привыкли бороться за свои права. А так как, начиная от станции Белоостров и почти до Выборга, подавляющее большинство работает русских булочников, то финляндский закон грубо нарушается. Все это происходит,—взывает автор,—благодаря нашей забитости, некультурности. Товарищи, не работайте ночью, не нарушайте закона, за который финляндские товарищи так долго боролись. Ведь пекаря-финны не работают по ночам, отстаивают свое право“[1]). Другой ставит в пример булочника, который „по прибытии в Вильманстранд, хотя и не знал законов и финского языка,

1) „Жизнь Пекаря“, № 2—1913 г.

все же сходил в дом рабочих и осведомился об условиях труда“. „В результате, все новые рабочие Гусева, бывшего подпрапорщика, который плюет на все законы, перестали вредить своим финским товарищам, разрушая то, чего они добились с таким трудом“.

Вот еще факты того же значения. Между тем как страховая кампания русского пролетариата, особенно в Петрограде, сразу развернулась во всю, латышский пролетариат относился к ней некоторое время равнодушно. „И только под прямым влиянием русского движения в этом отношении началось здесь оживление“ [1]). „Мы, уполномоченные-христиане, участники первого и второго общих собраний Виленских уполномоченных,—читаете вы,—категорически заявляем, что признаем необходимым в интересах рабочих учреждений общих больничных касс без различия национальностей и вероисповеданий“. В Риге на собрании уполномоченных для открытия больничной кассы один рабочий начал говорить на латышском языке. Когда же председатель лишил оратора слова, заявив, что он латышского языка не допустит, что прения должны вестись на русском языке, то рабочие-русские попросили указать закон, на основании которого латышей лишают слова, затем ушли, не подписав даже протокола собрания. Правление союза нефтепромышленных рабочих в Баку назначило общее собрание на 8 марта. Но 8 марта оказался мусульманский праздник, и правление перенесло собрание на другой день, хотя из мусульман, быть может, не пришли бы немногие [2]).

Еще в 1904—5 гг. рабочие Кавказа с оружием в руках, проливая свою кровь, прекращали братоубийственную резню мусульман и армян. Не попы-армяне, не полиция остановила погромную волну, а железнодорожные рабочие, партии бакинских промыслов, грузчики батумского порта, и

[1]) „Вопросы Страхования“, № 25—1914 г.
[2]) „Волна“, № 2—1909 г. Баку.

слово, которое нашло дорогу к сердцам, было: пролетарии, соединяйтесь! Так было в 1904—05 гг., когда рабочая демократия была в зародыше. Тем ярче то, что видим 10 лет спустя, когда социал-демократическая фракция в целом и каждый из ее отдельных членов, — как говорил в думе 21 мая 1913 г. деп. Ягелло,—получают со всех концов от рабочих требования, покрытые тысячами подписей.

IV.

Было бы ошибочно думать, что рабочая интеллигенция смешивает „национализм без нации" с национализмом в истинном смысле слова. Она знает, что самый бурный момент развития России был моментом наибольшего национального напряжения ее, что именно в союзах и обществах, каждый день возникавших во всех углах, ковалась нация в лучшем смысле этого слова, что сплочению не мешала даже острая борьба классов и партий. Она знает, что никогда „инородцы" не чувствовали себя в такой степени гражданами, не были в такой мере близки к России, к русскому народу, как тогда. „Быть равноправным и свободным гражданином—вот какой девиз и лозунг нес с собой авангард народного движения—пролетариат,—писал раб. деп. Петровский в своем обращении к рабочим.— Под напором пролетарского движения сгинула на время национальная рознь в 1905 г.; на момент открывшаяся свобода указала пролетариям всех наций, что между ними нет никакой национальной вражды, что они все рабы капиталистов, которые тоже без различия наций объединились для эксплоатации рабочих всех наций. Тогда-то и финский народ легче вздохнул, легче стало польскому и еврейскому народу, украинцу и т. д. Все нации почувствовали себя равными, и каждый на своем языке выражал чувство радости и солидарности с другими угнетенными нациями и понимали друг друга".

В движении ковалась нация и, конечно, была бы выкована еще тогда, если бы история не судила иначе. И вот указание

депутатам: „Мы, рабочие пяти фабрик Варшавской губ. (547 подписей), поручаем вам заклеймить политику буржуазии, стремящейся посеять рознь между рабочими разных национальностей и тем самым отвлечь рабочий класс от его действительных задач. Мы хотим не розни и распрей, а братского единения рабочих всех стран и народностей". Мы, рабочие портового города Поти, постановили, чтобы с.-д. фракция разоблачала всякие националистические выступления, каким бы знаменем эти выступления ни прикрывались" и т. д. И вот демократия ведет борьбу с национализмом во всех его видах, начиная с грубого национализма наших правых, вплоть до более или менее прикрытого национализма партий мелкобуржуазных.

Однако,—это необходимо отметить тут же,—говоря, что „попытка внесения духа национального обособления в наши пролетарские ряды должна встретить самый энергичный отпор со стороны всех сознательных пролетариев России" [1]), последние скорее направляли внимание влево, чем направо. Конечно, как пройти мимо желтой газетки „Свобода и порядок", в противовес рабочим газетам, распространявшейся среди рабочих масс? „Мы должны употребить все усилия на то, чтобы изъять такую газету из рабочей среды,—писал рабочий И. Л.—Безграмотная мазня профессиональных громил может на отсталые слои рабочих иметь временное развращающее влияние". Однако, тот же И. Л. добавляет: „Теперь уж на эту удочку рабочих не поймаешь. Видно Валяй-Шпыняя по ушам. Сейчас же его рабочий разгадает". Совсем другое, когда ту же политику разводят либералы, делая это в затемняющих суть фразах, ибо желтых газет мало, им никто не верит, либеральным же газетам верят некоторые слои масс. „Когда Пуришкевичи и Марковы, под аккомпанимент объединенных дворян, ведут борьбу за угнетение большинства

[1]) Открытое письмо инициаторам 4-го Всероссийского Съезда приказчиков.

населения России,—говорил в думе тот же Петровский,—то эта варварская работа никого уже не обманет; погромы были и остаются тем позорным столбом, к которому прикована, гг., ваша политика в национальном вопросе. А вот кадеты обманывают народ в своей очень распространенной либерально-буржуазной прессе, когда называют себя демократами и в то же время защищают идею господствующей нации. Вот против этого обмана либералов мы должны решительно протестовать и предостеречь страну". Словом, лучше национализм откровенный, отталкивающий народную массу, чем подслащенный, систематически, осторожно впитывающий в нее дух шовинизма. И рабочий-интеллигент борется прежде всего с тем, кто в состоянии увлечь за собой часть рабочих масс, уже потому, что „говорят они не от имени буржуазных классов, а от имени русского народа,—по словам пролетария.— И выходит так, что русский рабочий и крестьянин, позабыв о „пустом" животе, сразу воспылали жаждой к „славным" подвигам... Когда рабочие заявляют в своей рабочей печати свои протесты, то газеты за помещение этих протестов караются. Когда же от имени рабочих и крестьян реакционеры и либералы говорят явную ложь, за то им ничего не бывает" [1]).

Иллюстрирует эту борьбу отношение к славянофильству, которое с такой силой проявилось еще в 1912 г. На другой день после дня славянских флагов, затеянного с благословения кадетов, „безработный" писал в газете „Правда": „В одной из кружек,—хвастает „Речь",—был найден вексель в 3.500 руб., подписанный бывшим редактором „Русского Инвалида", ген.-лейтенантом Паренсовым. Но что же вы думаете, рабочие? Это щедрое даяние ген.-лейтенанта оказалось „русско-инвалидного" свойства: вексель, по наведению справок, был выдан в 1887 г. и никуда не годился. Эх, господа, господа, вся ваша славянофильская шумиха—один фальшивый, никуда

[1]) „Заря Поволжья", № 8—1914 г. Самара.

негодный вексель!" Это не были слова лишь автора этих строк. Устами его говорила рабочая интеллигенция. Хотя в самый день сбора „Речь" пыталась показать, что жертвователями являлись, главным образом, рабочие массы, и „на окраинах шел сбор гораздо успешнее, чем в центре", фактически происходило вот что, согласно корреспонденциям рабочих:

— Купите, товарищи!

— Нет, барышня, не одобряю этой затеи,—откликается один из кучки рабочих.

— Неужели вы против славян?

— А с каких пор греки стали братьями-славянами, барышня?

— Все же христиане они!

— Так и говорите, что единение ваше религиозное, а не научное. Давно ли Милюков в защитника религии превратился?

Слышатся замечания. Сборщица смущена.

— Да уж я сегодня не от первых вас это слышу. И в заводе рабочие отказались. А мне бросить стыдно. Взялась ведь.

— А вы откажитесь, барышня, да и Милюкову скажите, что неправильно он сделал.

Густо валит снег. К собравшимся вокруг сборщицы подходит городовой.

— Разойдитесь, господа!

Занесенная снегом фигурка медленно удаляется.

Кое-где славянофильский сбор имел успех. Но именно кое-где: рабочая пресса зорко следила за сборами, и эти случаи наперечет. Вот общество „Продамета", где сбор прошел „благополучно". Вот завод Екатеринославской губ. „Серая масса, готовая „ради спокойствия" жертвовать на какую угодно цель",—пишет рабочий-корреспондент. Однако, „стыдно рабочему классу гор. Александровска, что он отозвался на затею, забывая то, что в городе не работает вот уже пять месяцев четыре завода, и много рабочих голодает". „Жертвование на

предположенную кем-либо цель не свидетельствует о сознательности жертвующих, последняя появляется только в умении найти верную цель для пожертвований". В то время как шел сбор, тысячи рабочих устраивали овации раб.-депутату, громившему славянофилов в своих лекциях, а депутат Петровский в думе говорил: „Разве, гг., не ясно, что наши правые и октябристы и их правительство делают из России великую угнетательницу всех наций славянских? Даже кадеты из „Русской Мысли" и „Молвы" проповедуют необходимость одного государственного языка. Но это есть привилегия одним великороссам".

Особенно опасен, — вследствие ореола мученичества, — в глазах рабочей интеллигенции либерализм угнетенных наций, стремящийся не к классовым, а национальным группировкам, изображающий народ однородным целым с интересами, общими всем представителям народа и противоположными интересам всех слоев других наций.

Это — опасность лживых фраз о „своих" и „чужих", заставляющих забыть, что и нация угнетенная разделена на классы.

После избрания в думу от Варшавы рабочего Ягелло, которому отдали свои голоса евреи, польские либералы предали проклятию депутата, обвинив его в измене Польше. Вот что с думской трибуны Ягелло отвечал либералам: „Всякое национальное угнетение, всякий натиск на народную совесть вредны не только сами по себе, но они вредны еще и потому, что неминуемо порождают националистическую шумиху, благодаря которой буржуазия всех национальностей старается отвлечь внимание народных масс от их необходимых потребностей. Разве нужна для этого положения более яркая иллюстрация, чем та, которую дает современная жизнь в Польше". И рабочая демократия особенно чутка к влияниям этого рода.

Имущие классы Польши, — ее националистические круги, — праздновали 9 января 1913 г. историческую годовщину — 50-летие начала польского восстания 1863 г. Рабочая демократия Польши, само собой, умеет чтить память борцов за свободу, к какому бы классу они ни принадлежали. Однако, она не присоединила свой голос к хору польских либералов, пользующихся национальной фразой в борьбе с антинациональной демократией. Рабочая Польша в этот день сливалась не с польским мещанством, а с рабочей демократией России. Ту же борьбу с либерализмом мы видели у эстонцев. Эстонская мелкобуржуазная печать, скажем, восхваляет национальное единодушие эстонских народных масс на эстонских национальных торжествах. На самом же деле восторги еще не оформившегося эстонского либерализма более чем беспочвенны. Пока классовый состав маленькой нации еще не определился — кому было говорить на эту тему! Но вот картина изменилась. Когда перед войной мелкобуржуазные общественные деятели взялись за очередное национальное празднество в Нарве, — читаете вы, — они встретили оппозицию в лице местных рабочих. Конечно, и рабочему не грех устроить празднество, где бы можно было отдохнуть. Но этот день должен быть рабочим праздником. „Наши же мелко-мещанские торжества носят клерикально-буржуазный характер". Либеральная печать обрушилась на нарвских рабочих за их выходку. Но факт от этого не изменил своего значения. Нарвские эстонские рабочие показали, что в них крепнет классовое сознание и понимание, с кем и как им веселиться подобает. Когда либеральный г. Прилуцкий выступил в 1912 г. со статьей, в которой доказывал, что требование рабочих, „чтобы мы всецело полагались на них, на демократов", не состоятельно, что рабочие должны при выборах голосовать не за кандидата демократии, а за национального кандидата [1]), то А. Лапиус — от имени рабочих — ответил ему так: „Кого г. Прилуцкий подразумевает под словом „мы"? Если еврейскую буржуазию, то он ошибается. Если он под словом „мы" подразумевает нас, еврейских пролетариев, то он опять ошибается. Гг. Прилуцкие,

[1]) „Der Moment", 1912 г., № 225.

призывая евреев без различия классов поддерживать чисто националистические еврейские кандидатуры, хотят замазать классовые противоположности, существующие у всех народов, национальным единством. Надеюсь, что громкие фразы разных буржуазных идеологов не введут в заблуждение еврейских рабочих, которые испытали на своей шкуре „дружбу“ еврейской буржуазии“ [1]).

Суровый, и очень суровый в этом направлении, рабочий-интеллигент Алексеев, усмотревший в „Торговом служащем“ влияние либерализма, писал: „Журнал на еврейском языке необходим для еврейской приказчичьей массы, читающей только на своем языке. Такой журнал мог бы сильно содействовать просвещению и объединению пролетариев прилавка на Западе России. Но для этого необходимо прежде всего, чтобы шатания в сторону национализма или либерального влечения ко всем „истинно-оппозиционным“ партиям не имели места“ [2]). Тот же смысл, —хотя и не столь подчеркнутый,—вкладывал в свои слова покойный секретарь рабочей страховой группы Г. Шкапин, когда писал „совещанию активных деятелей еврейского рабочего движения“: „Своими необдуманными упреками по нашему адресу вы не помогаете нам, а скорее служите делу раскола, столь бедственно отразившегося на судьбе российского пролетариата. Вы, передовые борцы, подстрекаете еврейский пролетариат относиться к нам с недоверием, вместо того, чтобы общими усилиями создать вокруг нас, пионеров насущного для нас всех рабочих дела страхования, сочувственную, атмосферу“ [3]).

V.

Итак, Марков 2-й знал, что говорил, когда—при обсуждении ленского запроса в думе—выражал готовность „итти

---

[1]) „Правда“, № 147—1912 г.
[2]) „Вестник Приказчика“, № 17—1914 г.
[3]) „Вопросы Страхования“, № 23 -1914 г.

рука об руку“ с представителями пролетариата, если эти последние, в свою очередь, согласятся итти против „жидов“. Борясь против всяких национальных привилегий, рабочая интеллигенция не ограничивалась этим. Она боролась и с национализмом утонченным, отстаивая не только единство, но и слияние пролетариата всех наций. Поляки и русские, евреи и малороссы, латыши и эстонцы, грузины и армяне разно начинали речь свою, но кончали неизменно одним: „Не пора ли бросить вражду друг с другом“, „ставить своей целью не дробление сил, а воссоздание их“, „слиться в единую семью“, „одно лишь остается у рабочих—их солидарность и объединение между собою“, „самое главное — наша солидарность“.

Но, если вопрос о национальном мире так остро стоял перед рабочим, то как же он подходил к решению его? Для него было ясно: царизм и решение вопроса друг друга исключают. „Действительное решение национального вопроса в России, как и в других странах, возможно только при полном демократизме,—сказал в думе Петровский.—Лишь понятие демократии включает в себя безусловное признание полного равноправия наций“, т.-е. национальный вопрос не отделим от вопроса о самом обществе.

В верхах рабочей демократии были, без сомнения, разномыслия. Рабочие-бундовцы, рабочие-кавказцы держались того взгляда, что удовлетворение национально-культурных нужд надо передать в ведение специальных национально-автономных единиц. Другой взгляд ярко выражен был в думе депутатом владимирских рабочих Самойловым; согласно ему, нужды эти должны удовлетворяться общими огранами государства, местного и областного самоуправления. Было разномыслие и в вопросе о самоопределении наций. Однако,—хотя актуальность проблемы в значительной мере есть следствие развития самодеятельности рабочих масс разноплеменного населения России,—сознательный массовик в эти оттенки не входил. Ни одной привилегии, ни для одной нации, ни малейшей несправедли-

вости к национальному меньшинству—вот что непоколебимо было в его глазах, и это повторяли на сотни ладов наказы, резолюции, обращения рабочих.

„Еврейскому языку отказывают в праве на существование,—говорил Ягелло в думе,—на собраниях еврейских рабочих союзов воспрещается говорить по-еврейски. Им воспрещается читать лекции на еврейском языке, из начальных школ для еврейских детей их родной язык изгнан, даже как предмет преподавания“. И рабочие ему вторят; стеснение языка прежде всего затрудняет распространение передовых идей. Если еврейскому рабочему запрещают говорить по-еврейски на собраниях союза, а по-русски говорить он не умеет; если украинцу-рабочему запрещают обучать детей в украинской школе, а польскому рабочему читать книги на польском языке, то этим рабочая культура задерживается крепко. „Мы: 1) портовые рабочие русского общества пароходства и торговли; 2) пароходства российского транспортного и страхового общества, 3) лесопильных заводов, 4) железнодорожные рабочие, 5) рабочие рыбных промыслов, 6) рабочие марганцепромышленные и 7) приказчики портового гор. Поти поручаем вам защищать равноправие родного языка“; „мы, металлисты-евреи, приказчики, сапожники гор. Варшавы, вменяем вам в обязанность защищать равноправие нашего родного языка в школе, государственных учреждениях и в органах самоуправления“; „мы, рабочие-поляки в количестве 3.608 человек, протестуем самым решительным образом против проекта о городском самоуправлении в Польше, который попирает права польского языка, давая господствующую роль как в дебатах городских дум, так и в их внешней деятельности русскому языку“. В Варшаве на собрании печатников поляк-рабочий сказал, что работа должна вестись на польском языке, что вызвало отпор со стороны рабочего-еврея, заявившего, что раз так, союз должен быть еврейским. Однако, остальные остановили того и другого единогласной резолюцией, согласно которой платформа союза обнимает всех рабочих. „Никакому национализму, мол, не должно быть места, так как союз интернационален“. Уполномоченные больничной кассы при заводе т-ва „Проводник“ в Риге принесли в совет жалобу на постановление Лифляндского присутствия о том, что общее собрание касс должно вестись обязательно на русском языке. По этому поводу рабочая страховая группа сделала следующее заявление: „В Положении больничных касс нет никаких указаний об языке прений в общем собрании. Это ясно говорит о том, что закон не считает употребление государственного языка в этом случае обязательным и допускает употребление и других языков. Толкование же Лифляндского присутствия совершенно произвольно расширяет ограничения. Успешное развитие страхования и деятельности больничных касс невозможно без свободного и нестесняемого участия в этом деле всего разноплеменного пролетариата России. Ссылки же присутствия на незнание местных языков чинами полиции не могут служить основанием к незаконному урезыванию прав рабочих, тем более, что больничные кассы существуют для участников, а не для чинов полиции“.

Их право получать образование на родном языке, объясняться на собраниях союзов, во всех местных и государственных учреждениях. Далее, в то время как представители коло вносят запрос об аресте ксендза, депутат Ягелло делает запрос о нарушении закона министерством внутренних дел, запретившим преподавание закона божьяго на родном языке в Польше. Ибо и тут сотни наказов об уничтожении вероисповедных ограничений. Конечно, общая цель устранить правовые различия, те привилегии, которые создают перегородки внутри одного класса, препятствуют сближению, ослабляют классовую борьбу: „отстаивайте совместно с представителями рабочих других национальностей всю совокупность интересов польского рабочего класса“ (111 рабочих фабрики Финстера и Гампера в Сосновицах); „прекращение преследований инород-

цев, отмену черты оседлости“ (827 рабочих-кавказцев): „гражданское равноправие отдельных национальностей“ (уполномоченные по рабочей курии в Екатеринославе); „полное национальное равноправие“ (рабочие-евреи) и т. д.

Рабочая интеллигенция поднимала на высоту лозунга то что составляло бытовое явление в ее социальном обиходе. Единство рабочих всех наций во всех и всяких просветительных, профессиональных, политических и других рабочих организациях—факт, который злейшие враги пролетариата не отрицают. Объединив разнородные национальные элементы, классовые противоречия налагают на психику, на взгляды свой отпечаток. Национальные пережитки отступают все дальше и дальше.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПО РАБОЧЕЙ ПРОВИНЦИИ

Моментом хаоса народного окрестили 1907 — 10 гг. Трудно отрицать: холодно, голодно было — что и говорить — хоть топись. А все же перед нами не силище, угнетающее своей терпеливостью, стихийностью.

Расползалось рабочее житье, но, право, если еще были в тот момент живые темы, живые не полузадохшиеся вопросы, так это здесь. Надо только представить себе перемены в психике масс, вызванные осложнениями этого времени! Как различно запечатлевается жизненный факт в сердце рабочего человека и в сердце „чистой публики", отмечал еще покойный Гл. Успенский, но в доброе старое время. Во сколько же раз грандиознее рамки жизни, в которых приходилось разбираться и крестьянину, и пролетарию, и полуинтеллигенту медвежьих углов сейчас!

Случалось ли вам бродить в черную, черную ночь; чувствовать, что мрак надвигается вокруг, как могила, и вдруг завидеть огонек? В таком именно положении оказался я в качестве провинциального наблюдателя. Холодом ночи дышала жизнь захолустья, но пусть машина развинтилась, горел внутри жуткий, неуничтожаемый какой-то огонек.

I.

Область моих наблюдений—рабочая глушь, время—черные годы контр-революции: там, где на улицах толпились люди и на всех лицах была написана решимость, теперь рост недоверия, злого, угрюмого. Отвечают коротко.

— Заснули, братец, как ко дну пошли.

— Вот ни земли то, значит нет, а и заработков тоже нет—хуже наше положение не бывало.

Безработная голь там, где ее в прежнее время и не предполагали, не настраивает стариков на оптимистический лад. Грабеж, озорство, ночью выйти страшно.

— Гниет человек, просто и все. Что то будет, наконец?— говорили они в отчаянии.

Но прежде чем перейти к этому „хаосу", я остановлюсь на самых ячейках, к которым мои наблюдения относятся. Таковыми являются не деревни, не промышленные центры, а уездные поселения, почти не затронутые наблюдателями. Что они представляли собой прежде, что представляют в момент, когда пишутся эти строки? Это—поселения в 3—4, много 5 тысяч, разбросанные в стороне от железных дорог, с церковью, костелом, значительно более снабженные всяким начальством, чем многолюдные села. Торговые места заняты евреями, в их руках заезжие дворы, лавки, трактиры; многие существуют ремеслом, за каждый рублик готовые платить трудом, в десять раз большим, чем следует, еще больше рабочих местных мастерских, лесопильных, кожевенных, гончарных, кузнечных и пр. Те, что ютятся на задних улицах, владеют своей избой, а то и земельным наделом.

Весь уклад этой жизни, можно сказать, в ее неподвижности. Точно бездорожье края, лишенного каких-либо забот о подъеме производительных сил—агрономии, ветеринарии, больниц, школ, общественного призрения, и пр.,—соединилось с атмосферой бесправия для того, чтобы убить приток всякого воздуха. Из года в год также снуют между лошадиными мордами съехавшейся ярмарки; также бранятся всласть, стараясь взять не столько словечком, сколько злым смыслом. Из года в год тот же Сидор, пропившийся до копейки и принимающийся за работу с мечтой о новом пьяном дне; дурак „Мацей", бормочущий про „смажные латки"; какие то визжащие мышиного цвета собаки, неизвестно кому принадлежащие; так же злее, чем ближе к лету, вши, к которым население так привыкло, что не замечает их. Даже ветер так же воет, выражая ужас этой беспомощности.

Но лучшая охрана неподвижности—заброшенность, отдаленность от городов и железных дорог. Если какое нибудь село, по воле случая, заведется железнодорожной станцией, крестьяне перестроют свои дома, откроют новые лавки, появится новое начальство, и село теряет типичную физиономию, превращаясь в городок. Но типично для такого городка, что ничто—кроме хрюканья свиньи в будни или пьяных звуков гармоники в праздник—не нарушает тишину, и царит она и вблизи, и вдалеке; что даже простор полей с проселочными дорогами кажется печальным, голубое небо—пустыней, точно, если и мчатся, свистя, паровозы с тысячами различных людей, высятся каменные города, бурлящие улицами, то где то за простором, за небом... Типично для такого городка: если когда-то протекала речка, впадая в пруд, то речка высохла, а на месте пруда—болотце; если леса охватывали тесным кольцом окрестность, то их наполовину уже вырубили, и стук топора, поглощаемый окрестным безлюдьем, глухо замирает в воздухе. Этот отпечаток уныния лежит не только на людях, но и на животных—на цыплятах, копошащихся в навозе, понурившей голову лошаденке, на стаде тощих коров, сопровождаемом оборванным подростком. Люди „любятся", курят трубки, поют песни; и здесь весна действует на организм. Но в такие дни заброшенность чувствуется иногда острее, чем в осенний день, когда с крыш монотонным звуком падают струйки воды на грязную землю. Чаще слышится шум и гам, затеваются ссоры, подмечаешь чей-нибудь вздох всей грудью, чей-нибудь взгляд в пусто синеющую даль. За пустыми исключениями, почти все население мыкается, что называется, а не живет: уверенности, что, кроме неведомо откуда являющихся огорчений, имеешь право и на жизнь, нет ни у кого...

Заметную дифференциацию вносит лишь капитал. Герои докапиталистического накопления роют, пилят, рубят и здесь, увозят все это за тридевять земель. Вкус получать за все чистыми деньгами развит уже; мастерские, нередко требующие десятков рабочих — типичные образчики полу-кустарных, полу-капиталистических предприятий. Есть крестьяне, скупающие наделы бедноты — „новые помещики“; кулаки, дающие деньги в рост,—и тем и другим удалось скопить капиталец на промыслах. Недаром на ряду со всеми сортами человеческой трусости, этим камнем, с которым и живут, и детей рожают, и бегут в первую попавшуюся нору от беды, сильнейшая жажда здесь—жажда к деньгам. Это не жажда, а поклонение какое то—лишь бы только раздобыть...

Конечно, молодежь все сильнее отбивается от земли и ремесла и переходит в полукапиталистически организованные мастерские.

Жители имели прежде землю. Жили „тихо“; каждый имел своего коня, корову, свинью—поглядеть со стороны, будто одна семья...

Потом, однако, „семья“ расслоилась.

Владея клочками земли, беднота может уплачивать подати, лишь нанимаясь на заработки в имения, в мастерские.

— Я помню,—вспоминает парень—еще несколько лет назад нарезные шнуры земли крестьянской были много шире, круглее хозяйство. Еще за мою память иные хозяева-землепашцы располагали более, чем по пятнадцати десятин земли, хотя и невыкупленной, держали зимой по нескольку штук коров, по паре волов, либо лошадей. Чем же дале, тем надел меньше—крестьянство беднеет.

Одно время казна объявила о продаже нескольких сот десятин земли, освобожденной из под лесу. Но купленная земля была распахана, в течение двух лет давала урожай, а затем также измельчала, как остальная крестьянская земля. Приходилось хлеб ржаной заменять ячменным, картофелем,

примесями. Недохват корму скотине обесценивал до нельзя и ее. Бывали месяцы, когда крестьяне готовы были работать за несколько копеек в день, лишь бы иметь чем уплатить подать.

И вот каждый полу-крестьянин отдает сына, другого для обучения какому нибудь ремеслу, которое доставляло бы недостающие от клочка земли средства к пропитанию. В каждой семье можно встретить ремесленника. Правда, упало и ремесло вследствие такого наплыва, главное же—вследствие конкуренции полу-капиталистических предприятий, с которыми спорить мелкое ремесло может лишь путем сокращения своих потребностей, и, оставляя дом, крестьянин обшивает соседние деревни, батрачествует в имении или работает в мастерской над чужим материалом, теряя уже связь с потребителем.

Не многим лучше обстоит в торговле—нет для того ни капитала, ни умения организовать сбыт, чтобы вести самостоятельные сношения с рынком: далеко не уедешь. Население почти не имеет школ, кроме школ грамоты. Ремесленных школ и подавно нет, и профессиональное умение стоит очень низко.

Пробить здесь брешь может новая железная дорога или фабрика, вытянув городок из застоявшейся тины в общий экономический водоворот... Это мы и видим. Где же этого нет, паутина одна и та же: полунатуральная барщина в одной области, система выжимания пота на всех местах и пунктах, набитых, как песок морской, с другой...

II.

Однако, в этой глуши, кажется, потерявшей всякий аппетит существования, думы и чувства 1905—06 гг. уже встретили подготовленную почву. В этой глуши почти не имели места революционные эксцессы: максималисты и анархисты никакого влияния не имели, социалисты-революционеры — самое слабое; главное же влияние и в среде рабочих, и в среде крестьян принадлежало социал-демократам, среди еврейских

ремесленников—бунду. Откуда же эти семена в этом мамаевом плену, при страхе не показать хотя бы с виду, что не трепещешь при этой, никем не вспоминаемой, бедности?

Как ни слаба дифференциация, население носит окраску полупромышленную: чем далее проник процесс разложения устоев, тем интенсивнее выделяется тот полурабочий элемент, из которого рекрутируется рабочая интеллигенция, тем ярче намечаются черты полупролетарской психологии.

— В нашем городке—говорит мне переплетчик, еврей—бастовали еще в девятьсот третьем году—кожевники. Добивались уменьшения рабочих часов и увеличения платы... Между ними и евреи, и крестьяне.

Интересы обезземеленного и обезземеливающегося крестьянства здесь и там сплетаются с интересами рабочей бедноты, и эта смесь полудеревенского, полугородского типа дает возможность проследить нарождение элементов рабочей демократии в любопытном социально-сословном сочетании.

Однако, камень полукапиталистических форм эксплоатации, с которым и рождаются на свет, и умирают, плохо пропускает лучи света—идейность настоящих фабричных центров могла сказываться здесь лишь отраженным светом через залетных птиц. И в самом деле струя света шла под шапкой невидимкой, не изнутри, а из обетованной некогда земли—из промышленных центров.

Особенности жизни здешней в том, что рабочая молодежь не сидит на одном месте. В общем, степень ухода в фабричные центры достигла одно время такой высоты, что почти любой городок насчитывал в крупных городах 30% своего населения. Тяга эта сеяла дух беспокойства. Совсем, кажется, устроился человек на месте—глядь, исчез. Другой только женился, обзавелся детьми—уже бросает налаженное покосившееся гнездо. Подчас из ста пытали счастие десятка два и еще больше душу отводили на желании, глядя, как синеет где-то даль.

Значение этой волны было прежде всего психологическое.

Вспрыснуть материальные корни этой захудалости она могла бы лишь в том случае, если бы не была случайной и в зависимости от этого преходящей. Разумеется, приток денег в медвежий угол был неизбежен. Например, из одного городка ушло 200 человек рабочих, но только трое „выписали“ туда свои семейства.

Если забирали с собой членов семьи, то лишь работоспособных. Понятно, начинается перевод денег. Но благополучие это скоро кончилось. Плата за труд стала баснословно падать. „Года три-четыре назад на заводах платилось в три-четыре раза против нынешнего“, сообщает поколение поколению. А затем и вовсе началось сокращение штатов. Небывалый кризис, потрясший русский капитализм, погнал назад из промышленных центров. Безработных накопились такие кадры, что не до наших полупролетариев.

И картина мамаева плена материально та же. „Не работаю с того то месяца“, „всю зиму прогулял“, „если теткин Дмитрий хотел ехать в Лодзь, то нехай знает, что это за Лодзь“,—вот материальные результаты. Зато результат психологический—прочный, несомненный.

Вы тотчас отличите рабочего, побывавшего в промышленном центре, от рабочего, прожившего свой век на одном месте. Его влияние с самых разных сторон входило в понятия, в привычки населения вообще. Если же все, что было побойчее, побывало в городах, то большинство-же и возвращалось обратно. Возвращались отчасти потому, что чужая сторона не привязывала. Лязг, шум, угар фабрик, электрические трамваи—все это нередко было не по душе полу-пролетарию. Не так легко сказать: „прощай все прежнее“. Иные старались пристраиваться на фермах, в лесах, на вновь сооружаемых дорогах, лишь бы не в городе—так на них действовала городская сутолока.

„Народ умственный, что говорить, каждый как можно чище одевается“,—рассказывал возвращающийся.—„Дома громадные. Но непривычно, воздух тяжелый“.

А все и все чужие, и в каждом живет неумирающая мечта о прошлом, неодолимое влечение назад.

— Терпишь-терпишь, а грустишь.. Как ни хоти, никуда не спрячешься: это ведь непрошенная гостья.

Возвращались, впрочем, от безработицы, голода, болезней. Но, так или иначе, возвращались с иными представлениями о жизни, человеческом достоинстве и еврей-ремесленник, и рабочий, и полу-рабочий, и полу-мужичек, поработав несколько лет на фабрике. Пусть промышленный центр не вываривал в своем котле ни того, ни другого; ни тот, ни другой не сливались с волнами чужой истории, вели там борьбу за свои бытовые особенности. Все-таки воздух свободы захватывал их до глубины духа, вытравливая добрую долю азиатчины. Как ни силен инстинкт векового упорства, напр., у ремесленника, город менял и его внутренний облик, делая отчасти и чуждым тому прошлому, по которому он так грустил. Городское влияние так велико, что перестаешь отличать себя от „господ“ вопреки всем унижениям прошлого—надо ли удивляться, если „дома уже ужиться не могут“, вернувшись, „от рук отбились“, если духовный багаж этот делается и достоянием тех, кто не решался в рискованный путь—начать жизнь сначала. Из городов вывозились социалистические идеи, конечно, еще чаще чувство индивидуального достоинства—ведь уезжала, главным образом, молодежь.

Так и выходило: топчешься-топчешься вокруг пустого места, а внутри какая-то работа, какой-то дух беспокойства. Недаром были углы медвежьи, имевшие крамольные воспоминания еще до „года борьбы“.

III.

Новая черта этого житья-бытья полу-рабочего, полу-промышленного—безработица, сказал я. Прежде хоть топтались вокруг пустого места, худо ли хорошо ли.

Теперь хозяева мастерских, испытавшие на своей шкуре не одну стачку, не одну уступку рабочим, когда последние были в силе, повыгоняли многих и соседям заказали брать их на работу. Самые дела стали тише, чем когда бы то ни было, и даже принесшим повинную нет места. Хозяева, пользуясь возросшим предложением рук, не только забраковали мало-мальски „строптивый“ элемент, но срывают злость при помощи сторожей и стражников, вооруженных с ног до головы. „Понабрались спеси, ну, теперь мы ее собьем“—обещают со всех сторон. К тому же эти годы и суть годы обратной волны из городов, а земли, оставленные полу-крестьянами, проданы односельчанам. Без кола, без двора возвращались они, и точно из земли вырос тип **полугородского босяка** в уезде, „блуждающий ныне народ“, явление, до тех пор неизвестное здесь вне традиционного нищенства.

Вот этим то ненастьем, окружившим со всех сторон семена, наскоро брошенные в рабочую глушь, ухудшением экономического положения до призрака голодной смерти, объясняются прежде всего отрицательные черты.

Это—разрушение прежнего, гибель традиций, разрыв с семейными устоями. Злоба, нередко безразборчиво направленная, недоверие, разъединенность. Работает сознание полу-интеллигента, рабочего, крестьянина, но холод безнадежности проникает в душу, леденит настроение. Внутри бродит, а маленькие точно островки обширного водного пространства стоят себе, как стояли. Точно того общения между ними, того жизненного пульса, который бился в каждом из них, и не бывало. Та же власть тьмы, о которую защита собственного достоинства разбивается. То же нравственное одиночество висит над каждым.

— Положение жизни—первый сорт. Молчи и живи пока что...

— Ох, как худо теперь в таких местах... Сколько нечисти развелось опять!—слышится в разговорах и суждениях.

— Удирать! Удирать! Вот главное...

Но куда, напр., убежать ткачу с таким прошлым? Он мне сам его описывает:

— Меня арестовывает полиция и берет мои книги, но выпускает, только книг не возвращают. После второй раз обыск и арест. Все это только мутит мое враждебное чувство. Я не страшусь наказания, только без хлеба мать осталась. Но все-таки была наука. Я было учиться стал, хотелось на волю выйти образованным, наконец, ведут меня этапом на суд. Я не могу всего стерпеть, и меня побили конвойные...

Он еще и сейчас бодрится, и голос его дрожит, когда произносит:

— Вся моя жизнь научила меня быть человеком, какой я есть, и мне ничто не страшно...

Но через несколько же минут угрюмо вздыхает:

— Вы меня спросите, что теперь я терплю, так будет вам известно, что такое за жизнь в нашем местечке. Все знают мои отчаянные дела...

Пришел в мастерскую—работы нет для вашей милости. А если есть, недреманое око хозяина не закрыто. Оно видит все, следит за каждым поворотом, и маленько замнись, заговори языком человека, вот и беда. А работа кончена—хозяин, рассчитав тебя, выбросит на улицу. Будешь голодный, но голоду твоему мало кто внемлет; твоя жизнь дешевле мыльного пузыря.

На этой почве, как бы ни работала голова, доминирующее чувство—бессилие, одиночество.

— И на какой только ляд столько страху нужно....

— Не хватает в нынешнее время духу.

— Помню, вышел я на волю и так меня каждый стал встречать и ободрять, что и про тюрьму забудешь. Но потом как бы отца и мать потерял...

Эти признания подчеркивают черту рабочей психологии черных дней,—ее двойственность, отсутствие цельности. Процесс самоопределения не может проявляться наружу, так как ему поставлены ненормальные преграды. Происходя на глубине, не всегда доступной взгляду постороннего человека, он не теряет, может быть, в интенсивности, но так как „силто и не стало совсем“, то образовалась пропасть между сознанием рабочего, крестьянина, особенно полуинтеллигента и этой „собачьей жизнью“. „Вся машина“ развинтилась. Порыв ушел, а понятия остались, и ни в какой темный чулан от них не убежишь. Понятия остались, а „жизнь собачья“ пошла назад. Одно горе изживешь, другое—навстречу; так и расползается психология народная, и никакими нитками ее не сошьешь. Оттого и состоит она из изумительных противоречий.

Самоучка, который не выпускал из рук Некрасова, вдруг изрекает по своему адресу: „водка—вот где наша погибель“. И, действительно, он „глушит“ водку...

Движение остановилось, а пьянство развивается...

Или парень „озорничает“. Но и тут: „понятия“ одно, озорство другое. Итти некуда—занялся озорством. Еще недавно предупреждал еврейский погром.

— За что их бить дадим? Разве-ж они нам враги! Это только деревня всему верит, на что ни наускивают... Вместе паримся, вместе долю ищем...

Теперь же, выбитый из колеи, он распространяет злобу и на стражника, и на помещика, и на еврея-бедняка, конкурирующего с ним в приискании заработка. Третий еще хуже: „мне-мол с вами не по дороге“.

— Прочие пусть как знают, мне бы самому было лучше...

Вопрос лишь индивидуальности и условий, в какой форме сказывается эта двойственность, в форме ли трусости, озорства, озлобления, пассивного примирения, душевного одиночества. Если хотите, с ссылкой что-то схожее, когда вдруг

у людей почва реальная, или казавшаяся таковой, исчезает, и отношения приобретают характер чисто личного тупика. Психология та же, что была, только равновесия нет, нет того, что возвышало над мелочами; а пока солнце взойдет, роса очи выест. Разница, конечно, в том, что в одном случае искусственно созданное явление, в другом — огромной важности процесс, отрицательные стороны которого выкупает то, что скрыто в глубине процесса.... Одно словечко лишь одинаково магически действует, несмотря на всю его бессодержательность:

— Нет, убегу, беспременно убегу!..—говорит кто-нибудь, хоть и не верит самому себе.

Какого чорта! Не клином свет сошелся!—вторят другие.

Уйдем на фабрику, в большие города! Но подъем промышленности не для них. Где они—там кризис, там безработица с безработными самоубийствами. Чуть не побираясь, возвращаются назад, хотя и много нового и чудного приносят с собой. И рабочий люд попрежнему думает, тоскует, приспособляется и продолжает свою „собачью жизнь", в мыслях готовый на все, чтобы переменить свою участь. Эх, завей горе лычком!

IV.

Не надо идеализировать активность даже полуинтеллигенции из рабочих и крестьян: и среди них видите молодых да ранних.

— Все задавили—дел уже никаких нет,—слышите то и дело,—и наш городок зажил такой печальной тоскливой жизнью, какой никогда еще не жил.

Критика всего, чему верили и поклонялись, начинается с интеллигенции. Вот как плотник, теперь безработный, говорит о ней:

— После свободных дней стал я разбирать каждого такого человека, стал судить каждого поступок и подумал; некоторые хотят только почестей, славы, но сами сторожатся;

увидел, что бывшие партийные стали жить каждый про себя. И я стал презирать таких, и у меня теперь такое чувство, чтобы набраться побольше знаний...

Другой, „американец", о полу-интеллигентности которого можно уже судить по языку, еще резче иллюстрирует отношение это.

—Достаточно было раз-другой услышать мне „оратора", чтобы без разговору пристать к движению. Так, понятно, было и с прочими в нашем местечке. Почти никто не отдавал себе сразу отчета, на что идет, а захватывало всякого, казалось: вот-вот наступит царство божье на земле, стоит только пойти, и все готово.

Но тут-то начинается разброд.

— Проходит год, другой. Массу постригают... в партию, ее дисциплинируют. Масса терпит, ведь это же для святого дела. Надо подчиниться тому, что велят генералы. Продолжаются сходки, с чтениями Маркса, Каутского, Эрфуртской программы. Не особенно понятно, но ничего... Культуртрегеры разъясняют, хотя и сами часто запутываются. Но масса, мало-по-малу, охладевает, группы одна за другой исчезают. Не весело становится вождям: находит уныние и тоска на интеллигенцию. Находят выход в... водке.

Движение присмирело, а пьянство развивалось...

Яд озлобления скрыт в этих словах. Но то же самое, только в мягкой форме, слышится и по собственному адресу.

— Как везде, масса обвиняет интеллигентов. Последние же сбрасывают вину на массу. Вернее, обе стороны отстали от движения. Многие приступили к движению не сознательно, а только потому, что в этом движении находили оживление и сплоченность. Увлекались внешностью, в которую вылилось движение, но от самого движения были многие далеки...

Это—слова еврея, рабочего полуинтеллигента.

— Именно теперь, во время застоя, поняли мы ошибку, какую совершили. Дело в том, что на самое развитие ра-

бочих обращалось мало внимания. Приходит, бывало, на „биржу“ рабочий, ему „отдают агитацию“ и его уже считают членом. Ну, иные и теперь нередко интересуются, но есть, к сожалению, не мало кающихся в своих прежних грехах. Легко представить себе радость стариков. Сознательному рабочему больно смотреть на это.

Это — маленькие культурные работники, отчасти еще ремесленники, крестьяне, отчасти уже выбившиеся в народные учителя, конторские служащие, почтальоны,—плоть от плоти крестьянской массы, несмотря на то, что по языку их иногда не отличите от „чистой публики“. Они-то и составляют, т. н. демократию народную, пока разве случайность не вырвет того или другого из народной среды. Я привожу эти мнения во всей их резкости, потому что и это осуждение за невнимание к интересам просвещения, и отношение к партийности, отождествляемое с отношением к вождям, характерны для черных лет. Я их встречал в разных слоях и у крестьян, и у рабочих, и в полуинтеллигентной среде. И чем бессознательнее среда, тем примитивнее направлены они на личности.

О социализме полурабочей, полукрестьянской массы и в пору революционного подъема можно было говорить лишь с понятными ограничениями. С тем большим скептицизмом надо подходить к нему теперь; по самому своему социальному положению, это слой, даже в лице наиболее сознательных представителей, дифференцированный довольно слабо.

Таковы отрицательные черты. В основе их лежит прежде всего разорение народное, обостренное неудачами освободительного движения. Конечно, ничего общего в этом нет с открытием, что чуть ли не основной факт народной жизни черных лет . . . изнасилование матерей; что „бунтарский класс“ перерождается; что не только рабочие рядовые, социал-демократы, но даже вожаки-рабочие социал-демократии вместо браунингов стали носить в кармане евангелие. „Это — мол их новое оружие, оно сильнее прежнего“. . .

Нет, всякий переход нарушает прежнее равновесие, когда пахали, шили, мяли кожи, соблюдали, что урядник требовал, а „не вникали, ни боже мой“; выдвигает прежде всего отрицательные стороны. Пробудившиеся потребности, желание лучшего, городские влияния, создающие свои вкусы, „свой образ мыслей“ у рабочего, у крестьянина, у мелкого лавочника,—все это перемешано на первый взгляд в отрицательных комбинациях. Но имейте очи для того, чтобы видеть. . .

V.

Убить в себе то, что уже сознано? Увильнуть от мучительного состояния? Ведь каждое выражение духовного роста массы было драмой, где человек боролся с тем, что сильнее его. Надо ли преувеличивать и двойственность, и озлобление „несчастливцев“ уголка провинции?

Ведь все-таки жажда света остается, в каких бы уродливых даже формах ни происходило примирение с давящим камнем обстановки? Все-таки воздух наполнен микробами пытливости. Вот здесь-то и скрыто то, что выкупает работу разрушения.

Если прежде был прорвавшийся нарыв, и год борьбы вскрыл этот нарыв, то теперь он не проходит. И переутомленная, и измятая душа рабочего человека все же отливает новыми думами и чувствами. . .

Процесс этот, начавшийся еще до войны, в связи с влияниями со стороны, поднимается с самого что ни на есть простонародья к верхним слоям народной демократии, „интеллигенции из народа“, как ее называли в прежнее время. Конечно, низы ничто так не захватывает, как борьба за кусок хлеба— в провинции, как и везде, „раз вся жизнь осень, темная грязная осень“—как я вычитал в одном рабочем письме. И все же „новое“ идет с самых низов крестьянско-рабочей бедноты.

Сеть неожиданностей, в которых ей пришлось разбираться, так велика; горькое сиротство в такой степени осложнилось беспокойнейшими вопросами, что, кажется, весь свой „досуг“ она ломает голову над этими сюрпризами. Это не работа только головы, это осложнение психологии вообще. Насколько голова не может не думать, настолько сердце не может не чувствовать. Чаще встречаете серьезные лица, носящие и следы голода, и следы духовных мук, слитых с суровой усталостью тяжелого физического труда, хотя и думать то приходится на ходу. Кажется, молчал ремесленник, молчал много лет и вдруг почувствовал, что на языке его шевелятся слова. И, в самом деле, наталкиваетесь на человека, развившего в себе способность говорить. И это одно стремление связано с мукой, которая подлинно выжигается в душе рабочего человека.

Загляните в письма рабочего серого люда—те же по старшинству поклоны, те же вопросы о телушке, но рядом и нечто новое: один не обходится без того, чтобы не спросить о думе; другой о выборах президента; третий — об „экспроприации на одного капиталиста“, четвертый—об американском кризисе. „Кажется, скоро поделаются американские улицы Московской Пресней“, „в Нью-Иорке демонстрация безработных рабочих“, „везде видим, как попирают наши права“, „бывало, когда ты со мной разговариваешь, то мне кажется, я читаю стих, от которого не знаю, на котором я свете“— согласитесь, не писало так в прежнее доброе время простонародье. И, если помещики, хозяева и пр. смотрят на него, как на „мирно побежденное“, „платя ему за прежние грехи“, и само оно, посылая проклятие судьбе, уже решает про себя, что, мол, не дума, не народ, а начальство, что захочет, то и будет, то, с другой стороны, оно неизменно что-то „про себя знает“. . .

Забитый ремесленник, который вот сейчас, кажется, пугал: „будем бунтовать, нам же хуже будет, дожили до чего!“, вдруг начинает махать руками.

— Подождите, то ли еще будет . . . Правды не скажешь. . .

Или смирился до того труженик, что „свою партию“ от союза русского народа отличить не может: „Думали, господ выживем, все наше будем, ан господа-то поуехали, а нам хуже стало. Видишь, какая не разбериха пошла! Все равно, как в карты“. . . И, вдруг, приходит минута, и этот же человек, сбитый с толку узлом непримиримых в его мозгу противоречий, уже тоже восклицает:

— Бог с ней, с неразберихой. А только, что знаем, то знаем. . .

Созерцательный покой исчез с самого дна народной жизни, и если „промежду господ надо тишком, да ладком пробираться, прикинуться за самого за правого“, то только прикинуться.

Идейное пробуждение лишь ярче всего на этой психологической канве. „Ныне, брат, умен стал народ“, „до всего доходить начинает“. В этом, конечно, и корень путаницы народных понятий, его нового недоверия, но в этом же и их блеск при всем разноязычии.

— Ах, как важно быть грамотным—признавался мне ямщик с таким видом, как будто о существовании грамоты только сейчас узнал.—Я, кажется, убил бы себя, почему я был таким дураком в прежнее время. Кажется, человек, а слепой, как щенок в первые дни своей жизни.

Кожевник, вошедший во вкус чтения, повествует:

— Есть много книжек теперь, которые толкуют о жизни нашей. Будто сам живешь в этих книгах, так верно они описывают нашу жизнь. И, знаешь, спасибо тем людям, которые это делают.

Прямо поэтично передавал мне . . . пастух, как он „пристрастился к песням свободы“. Его товарищ, пасший с ним вместе скот, стал напевать ему „какие-то чудные, но непонятные песни“, которые действовали на него так, что хотелось чего-то буйного, вольного. . .

Затем тот дал ему стихотворения Некрасова.

„Я брал их с собой в поле, садился на пень или зеленую траву и читал. Настолько иногда поглощался книжкой, что забывал свою главную заботу“. . .

Интерес к тому, что выходит за частокол родного угла, вопреки оторванности от всего мира чувствуется во всем. Область наименее затронутая,—вопросы религии—разумеется, в крестьянской среде. Среди еврейской молодежи религиозные переживания слабы. Но, например, антисемит был бы оскорблен в лучших чувствах в рабочем захолустьи. Крестьяне и евреи работают в общих мастерских, сталкиваются на ярмарках, даже выписывают сообща газету. Конечно, проявляется человеконенавистничество и на почве конкуренции, и под влиянием союза русского народа, но чем беднее улица, тем его меньше. („знают мужички наши, зачем у них камни, а не хлеб“, заметил мне подмастерье-еврей).

Подойдите к семейной жизни серого человека, особенно побывавшего в промышленном центре. Даже „проблема пола“ (конечно, без тех наслоений, какими ее окружают эстеты-декаденты) задевает его. Я слышал как-то спор братьев-рабочих, из которых один обвинял другого в „скотстве“ в этой области за то, что тот просил его „последить“ за его женой . . . Оба побывали в Саратове, „знают новые слова“.

Довольно это хорошие мысли, видите-ли, о „соглашении мужа с женой“. Но тогда только будет баба другом, если будет откровенна, не ожидая, когда парень услышит об ее похождениях от других. Дело не в радикализме, понятно—характерны самые рассуждения.

Даже внешность полу-рабочей, полу-крестьянской молодежи отразила пережитые запросы: фуражки с синим околышем, „спинжак“, брюки на выпуск, синяя рубашка—в такой степени под студента, что не всегда отличишь, по крайней мере, от студента былого типа.

Есть и соответствующие различия. Крестьянин мало анализирует, по возможности, сужает интересы, питает склонность

к проповеди, даже в ущерб фактической правде. Новые думы и чувства не нарушают его обычную практичность, закованную в броню крестьянского труда. Наоборот, чем менее связан он с землей, тем меньше уважение к „авторитету“. „Сам свою линию вести хочет“, скучное резонерство пропускает мимо ушей. Наибольшей интеллигентностью отличаются евреи-рабочие, евреи-ремесленники.

— Мы еще окончательно не расстались с талмудом,— рассказывал мне рабочий-еврей,—когда меня и моего товарища пригласили на „чтение“. Мы были в недоумении: с одной стороны, хотелось знать, чего хотят „демократы“, и что пишется в их таинственных книжках; с другой—боялись, как бы чего не вышло, хотя читали только такие вещи, как „Пчелы“ Писарева. Но любопытство взяло верх. Завелись первые знакомства. . .

VI.

Поднимемся к верхнему слою, изнемогающему точно так же во власти мастеров-заправил, к той полуинтеллигенции, в лице которой народ имел своих лидеров, учителей и общественных деятелей, своих публицистов и поэтов и в рабочем захолустьи.

Когда-то эта полуинтеллигенция всеми силами пыталась выбраться из своей среды, но не выбилась из душного и тесного угла далее учителя грамоты, псаломщика, писца при страховом агенте и пр. и теперь всем строем своей психологии принадлежит простонародью. В год борьбы она теряет культурническую окраску, приобретая ярко-революционный колорит, оказывающийся преходящим. Теперь опять процесс приспособления, потеря настроения, как бы социально-политические противоречия ни бросались в глаза. Это даже не решение „годить“, прежде чем „снова силу забрать“, а что-то похуже. Тем не менее та незримая болезнь, которую отмечал еще Гл. Успенский, болезнь народного самоопределения—еще рельефнее в этой полуинтеллигенции, чем в массе.

Я не говорю о провинциальных центрах, где известное настроение не может прекратиться. Но в фабрично-заводских углах это опять скорее культурнический слой. В оторванном от жизни захолустьи, с его полупромышленным характером хозяйственных отношений, культурничество обогащено лишь отчасти тенденциями революционного наследия. Разница, конечно, с прошлым так велика, что не узнаете часто языка культурника. Продукт освободительной волны, он разбирается в программах. Сам прошел партийную школу, и вся его просветительная работа окрашена этим цветом, чего не могло быть в прошлое десятилетие. Черта, сближающая его с культурником-самоучкой прежнего времени, это—стремление к знанию в широком смысле слова. То и дело в его руках география, арифметика, просто научная книжка. Он не в состоянии дать низам того, чего у него уже у самого нет—настроения. „Теперь, братцы, правды не скажешь, коли жив хочешь быть"... Однако, он здесь до сих пор „свой человек" в высшей степени. Вот, например,—рабочий, свой заработок в мастерской пополняющий обучением грамоте детей.

— Хотел отец выучить меня на пана, чтобы я, по его слову, не мучился так, как он, имел более легкий хлеб. Я, однако, был политиканом: мне в то время мало-мальски да было известно о том, что паны это нечто нелюбезное нашему брату: и все мысли сделаться когда-нибудь паном я изгнал из головы.

В мастерской проводят забастовку. Он принимает в ней участие, стал добиваться, чтобы его приняли в „кружок".

— Я уже не смотрю на будущее мое наказание за мои действия. Потом арестуют и сажают в тюрьму, где присматриваюсь к каждому и вижу много людей, схожих с моими чувствами и думками. Мне стало тогда веселее, что не один я такой, а много людей живет одним рассуждением. . .

Тюрьма потрепала его, потому что привели его по этапу, когда „демократы" уже были рассчитаны из мастерских и помещичьих экономий, и в городке шла отчаянная конкуренция из-за куска хлеба. Теперь у него „душа болит":

— С людьми смеешься, а останешься один, хоть из избы вон. . . Как подумаешь, что все по старому. . . И не знаешь, куда все рассыпалось. . .

Быть может, это люди, которые хоть и бросались первые, когда было надо, но бросались вниз рогами, как говорится, без того головного расчета, с каким даже тупой человек выигрывает; бросались вкось вместо главного направления. Но масса знает, что рога все-таки ломали они. Все еще они являются притягательным центром, к которому привыкли уже потому, что они прежде всего „собственники" литературы, унаследованной от бурных дней не только городскими центрами, но медвежьими углами.

Надо только представить себе размеры ее, чтобы оценить по достоинству значение ее хранителей. Большинство брошюр конфисковывалось на бумаге ведь: пока недреманное око цензора или добровольца-сыщика раскрывалось, в то время сотни названий продолжали открыто продаваться в книжных магазинах, расходились без остатка. Даже последовавшее обесценение брошюры пришлось в пользу народной демократии. Целые тюки литературы по цене, чуть не 2—3 к. на рубль, попадали в руки читателя, который раньше, когда эта брошюра была в цене, приобрести ее не мог. Правда, власти, наконец, более чем ретиво принялись за искоренение брошюры, но ищи ветра в поле. Создался ряд процессов за распространение бесчисленных конфискованных книг, а литература все-таки и „ныне там", а именно всецело в руках полуинтеллигентов из рабочих и крестьян.

Ведь еще недавно одного вида книги опасались в провинции. Каждая книжка или газета, волею судеб попавшая в руки мещанина, вызывала в нем вопрос о „запрещенном", сомнение в своей благонадежности, опасение, что начальство

узнает и направит за ослушание в „ту сторону, где Макар телят не пасет“. Туго шли на рассуждение. . .

И теперь, конечно, в этом отношении масса идет назад. Стоит только заподозрить, что „прослышали про чтение“, чтобы страх раскатился по всем окружающим местам, и книга припрятана подальше. . .

— Слишком стала слаба вера в то, что против такой силы можно что поделать. . .

И вот, если книга получила права гражданства в рабочем углу; если к ней привыкли не по форме только, но и по существу, то это заслуга полуинтеллигента. Чем более городок носит промышленную окраску, тем чаще тот или иной полуинтеллигент владеет десятком-другим книг. Стремятся выбирать „самим“, „по своему“. Один ищет преимущественно беллетристику, народные издания Успенского, Короленко, Горького, Некрасова и пр., другой—агитационные книжки по государственному праву, политической экономии, истории России, литературы, в таком изобилии выброшенные на рынок; третий—чисто научные.

Просматривая книжки уездной полуинтеллигенции, я прямо удивлялся.

— Какие у вас книги отобрали при обыске?—спрашивал я ремесленника.

— Богданова—„Политическую экономию“, „Экономическое учение“ К. Каутского, „Экономические очерки“ Баха, Плеханова—„Русский рабочий в революционном движении“, Бебеля о крестьянстве. . .

— Собственные ваши книги были?

— Собственные. . . И газету получаем: „Современное Слово“.

Прежние издания Павленкова, „Посредника“, Издателя“, Раппа, комитета грамотности положительно отступили перед новой волной брошюрной литературы и, если в наших кругах о ней осталось представление, как о чем-то легком, неположительном, то здесь—в среде народной полуинтеллигенции—она еще делала свое дело в высокой степени. Из газет выписывают почти сплошь „Правду“, „Современное Слово“. Не только газету, толстые журналы выписывают иногда вскладчину, по несколько копеек на брата. Больше всего пробила себе дорогу книга в еврейской среде. Ведь евреи поголовно грамотны по еврейски: нет ни одного почти бедняка, который бы в детстве не посещал „хедера“ (училища), „талмуд-торы“, или „ешиво“ (общественные училища низшего и высшего разряда), так как условия жизни заставляют его беспрерывно менять свои занятия. Еврейскому „демократу“ всегда есть работа, если принять во внимание, что на еврейском жаргоне написано много книг для народа.

Особое значение имеют, конечно, библиотечки, и почти в каждом городке вы находите хотя бы одно такое сбереженное учреждение, оставшееся от прежних дней и насчитывающее сотни названий. Было время, из взносов накапливались порядочные суммы. А то нанимались сады для собраний. Книги в библиотеку и выписывались, главным образом, на вырученные от продажи плодов деньги, за покрытием издержек по найму сада. Все, кто уезжал в города, оставляли книги в общее пользование, а то из Москвы, Киева, Иваново-Вознесенска присылали на „библиотечку“ и не мало присылали. Рядом с русской библиотечкой имелась в черте оседлости и жаргонная, при чем евреи нередко являются инициаторами и той, и другой. Вот как нового человека посвящали в тайну библиотеки полуинтеллигенты:

— Я чувствовал свое горе и мальчишкой бывало еще все „мечтал“. И вот некоторые, „босяками“ их у нас называли, стали давать книжки разные читать. Я первое что-то прочитал о священнике Гапоне и о налогах. Потом стал просить больше. Они давали, но я многое не понимал. Тогда один мне говорит: „идем, у нас есть библиотека, и я библиотекарь; дам тебе интересную книгу, которая будет тебе по-

нятна“. Я пошел за ним, взял что-то Лункевича и тогда стал книгу прочитывать за книгой. Читал, какие только были в библиотеке, из „Донской Речи“ много читал брошюр разных, потом сам стал выписывать....

Вы непременно видите около библиотечки характерную фигуру, посвящающую ей свой досуг. Глядит на книги, переставляя с места на место, перевязывая веревочкой; изо дня в день записывает выдачи и возвращения; даже пострадает, если нельзя обойтись без протокола. Бережет каждый номер газеты, попадающий в руки журнал, уцелевший случайно от 70-х годов. Так меня удивили в одной из библиотечек комплекты „Отечественных Записок“ и „Дела“. Оказывается, еще с семидесятых годов в эту глушь закатился отпрыск народовольческого движения, и вот от этих „босяков“ и остались эти книги. Когда семена, посеянные „босяками“, заглохли, книжный шкап перекочевывал с места на место, пока не начался 905-ый год. А теперь.... опять осиротел....

Насколько ценится работа такого книжника, показывает тот факт, что стоило в одном месте заподозрить обывателя в доносе на библиотеку, чтобы тот был побит. Но заслуга рабочей полуинтеллигенции не в одном хранении книги. Благодаря ей новейшие брошюры и переведены с интеллигентского языка на простой—руский или еврейский; благодаря ей в народе получили право гражданства такие словечки, как политика, эксплоатация, буржуазия, пролетарий, либерал, социал-демократ и пр. Это тоже своего рода „властители дум“ рабочей бедноты; их сила в том, что они понятны массе. Пусть властитель сам, повторяю, не всегда ясные вещи говорит, как его карман ни набит брошюрами в свое время. Но посмотрите его даже сейчас в какой-нибудь осенний праздник, как в его избе шевелятся серенькие, так похожие одна на другую фигурки. Тут и паренек, имеющий сочинения Некрасова, и баба, завернувшая из любопытства; бородатый мужик „насчет прошения“, тут и дети, которых

он обучает. Дара говорить, когда слово цепляется за слово, как у „оратора“, у него нет. Но даже теперь, когда столько посеяно озлобления, недоверия, он все-таки нет-нет и заденет струны их души. За душой неуверенность в завтрашнем дне, плохая репутация в глазах хозяев-кулаков, а он разъясняет, читает, выслушивает, что говорят, и в каждом слове чувствуется, насколько он отвечает своей аудитории. Ворчит кособокий самовар на подоконнике, общественное наследие покойной „организации“, за окном такая тьма, а речь все о том же, где начало и конец их горя.

Если полуинтеллигент—еврей, ничто так не сближает с ним крестьянскую бедноту, как книжка. Книга исходит из одного источника, говорит об одной и той же беде, обсуждается в одной мастерской, когда мастер не слышит. У кого книга в кармане, все равно „босяк“, и косятся на него урядник, хозяин независимо от того, кому он молится и на кого работает. И это вопреки тому, что даже такие полуинтеллигенты рабочей среды не всегда свободны от религиозных переживаний.

— Раньше—слышишь от такого пролетария—я считал, что так бог устроил и верил в загробную жизнь. Благодаря моей набожности, я долго с сомнением выслушивал доводы в правильности социалистических учений....

VII.

Вершина этого идейно-психологического процесса в массовой литературе, не той, которая пишется для народа, а самим народом, его верхним слоем. Кому приходилось жить среди серого, провинциального люда, тому бросалась в глаза эта любовь к слову; теперь эта открытая борьба за свободу слова, за суррогат гласности, не только выросла, даже по форме выражения ушла вперед. Ведь последствием „года борьбы“ было то, что впервые получила право гра-

жданства печать бесправных и безгласных в нашем отечестве, печать, связанная с борьбой каждого общественного слоя за свое освобождение. Самым своим существованием показывая, насколько свобода печати—институт социальный, насколько каждый класс общества вкладывает в понятие этой свободы свое содержание, подразумевает под ней то, что ему именно нужно, эта пресса плодила не только народного читателя, но и народного писателя. Листки и газетки велись полуинтеллигентами—рабочими и крестьянами—даже в провинциальной глуши. Я видел не одно такое гектографированное произведение провинциальной молодежи. И теперь, когда эта полоса осталась одним воспоминанием, наталкиваешься на целый ряд стихотворных сборников, дневников, рукописных газет, переходящих из рук в руки. В оборот вошли сотни слов, которых раньше не знал даже верхний слой. Пусть мотивы часто навеяны стремлением „додуматься до корня". Пусть поэзии в стихах не многим более, чем было когда-то, они подкупают своей безискусственностью. Это уже не самоучка, с благоговением подносящий тетрадку образованному барину. По внешности, пожалуй, тот же неудачник из семинаристов, который „чувствует". Но авторитет уже не тот, и произведения свои дает он не всегда охотно.

Меня заинтересовал писатель, выросший в углу проститутки, каменьщик по профессии. Долго он не подавал о себе вести, но, наконец, прислал письмо. „Теперь познакомлю вас с собой—писал он,—я рабочий-каменьщик, родом случак. Дело в том: я одержим манией писательства. Теперь остановка в здравой критике. Все—вопросы, а окружающая полугнилая интеллигенция в богоспасаемом Слуцке далека от меня, и вряд ли будет ей по силам это". И вот, для первого раза, он „посылает один из своих виршей, написанный в декадентско-современном вкусе". „Искренно сознаюсь, что это вкус не мой. Гнилая современная литература навеяла на душу какую-то гадость".

В стихотворениях, однако, „декадентски-современного" не оказалось.

Я один, словно колос, забытый
Жницею в поле,

говорится в нем—„и живу я, мечтою неведомое мне счастье любя":

Тяжко, хоть солнце скорей бы взошло, разогнало
Темно угрюмую ночь.

Просто личный мотив. Плохо ли, хорошо ли, можно сказать, одни и те же думки повторяются во всей поэзии. Я беру, как образчик, три тетрадки стихотворений кожевника. Жизнь была трудная. Отец зимой работал портным по деревням, летом ходил рыть канавы к помещикам, делать кирпич. Мать работала на ткацком станке, и мальчик пас стада коров с своей улицы, пока не попал в кожевенную мастерскую. Стихи собраны под общими названиями „Скорбная лира", „Душевные излияния" и пр.

Начинает автор с проклятия „думе", лишающей его отваги:

Отойди от меня, беспокойная дума,
Еще жить я хочу без заботы, без шума.
Я потомок и сын униженного племя,
Значит, будет страдать и терпеть еще время.

Но дума не отходит. Такова уже доля рабочего человека: „борьба нашей будет порукой, нашим счастьем"...

Мы тяжкой лопатою землю копаем,
Мы молотом крепким железо куем,
Мы землю родную сохою пахаем,
Мы гнемся, как дуги, мы косим, мы жнем...

Он не отделяет резко мужика от рабочего в своих стихотворениях „Гимн мужику", „Смерть мужика", „В крестьянской избе". Он пишет о крестьянских детях":

Ярко убого все так разодеты, в хилых шапчонках, в сорочках одних.
Тощие, бледные, горем согреты—выпала доля одна им для всех.

Однако, то и дело, берет поэта досада: „твердишь ты одно, что так бог видно дал, чтоб мужик все страдал, в вечном рабстве бы жил“. И лучшие его чувства обращены все-таки к фабрике. „Пышно растите, весенние всходы“, говорит он рабочей молодежи:

Пышно растите! Пусть солнце вас греет,
Нежно вас ветер пусть в поле обвеет,
Скажет вам сказку живую иль быль,
Сгонит с вас первую скучную пыль...
Пышно растите! Упитана кровью
Почва под вами.

Автор описывает „это время“, что „нас объяло, как туман“. Старики в отчаянии: „Люди бога позабыли—сами жисть хотят творить“, „и теперь пошло все дымом, что считалось впредь святым, нынче праху предается, пахнет это от людей“. Но поэт им отвечает, что здесь же и новые пути:

И пути те не кривые, к самой сути все ведут,
Но ходить по ним не в силу, густо тернии растут...

Что это за тернии, судите, напр., по „Мастерской кожевников“, по „Воплю безработного“.

Таким уже родилось „рабочее племя“, чтобы падать и подниматься вновь. Переверните несколько страниц, и вы уже среди стихотворений: „К узнику“, „Уставшему борцу“ и пр. „Ты болезненный был, хоть трудился как раб“, обращается он к узнику:

А блеснет где-нибудь света божьего луч, загорится на небе заря,
Ты вдруг станешь, как лев, и силен и могуч, чтобы кинуться в бой, весь горя...

Уставшего он упрекает: „Скажи мне, товарищ, что сталось с тобой“.

На могиле взывает:

Встань, товарищ, что долго так спишь? Посмотри, что за дивная тишь.
Расскажу я, товарищ, тебе, что мы выиграли ныне в борьбе.

Это—не лучшее, конечно. Стихи, помеченные годами реакции, конечно, нигде не напечатаны. Но главное содержание их типично и для хорошей, и для плохой поэзии самоучек рабочей глуши.

Пишут не только стихи, но и рассказы. Вот, например, „Кризис“; в нем изображается рабочий полуинтеллигент, пославший в газету первую корреспонденцию—„маленькую муху, которая, однако, мешает спокойно спать и сильному льву“. Автор—пролетарий, настолько начитанный, что „посвящает“ свое произведение Н. К. Михайловскому и В. Г. Короленко. Вот как изображается жажда печати, обуревающая героя:

— Как только она (корреспонденция) была написана, заделана и сдана на почту, им вдруг овладело нетерпение. Каждый раз, когда получалась почта, сердце его учащенно начинало биться.

В „Дневнике рабочего“ читаете:

— Гниет человек просто и все. И пухнут с голоду, либо бросаются в воду...

Отбившиеся от земли называют мужиков разинями, говорят не иначе, как с усмешкой о „бестолочи деревенской“, и если любят деревню, то лишь со стороны лугов, зорь утренних и пр. Только далекие фабрично-заводские центры могут „освежить их легкие“. Так, в другом месте я читаю:

— Нет, брошу скоро работу, уйду отсюда: уйду на свет, чтобы вдохнуть хоть глоток чистого воздуха...

В рукописях говорится о „новом барине, богатеющем посредством скупки земель раззорившихся крестьян“, об „от души исходящих жалобах на жизнь рабочего пролетария“, об отживших русских народовольцах, даже о том как... „колесо истории уверенно и беспрепятственно катится по намеченной колее“. Уделено внимание безработице. Однако, осложнения черного времени путают свежие умы интеллигенции из народа. Все это страдает и многословием, и неопределенностью. Видна и посторонняя рука.

Тем не менее, согласитесь, есть что-то примечательное в этой волне письменности. Ведь вот, напр., у любого работа с 8 утра до 11 вечера:, в этом промежутке времени ни минуты свободной. „Спешишь, торопишься, точно горячие картошки глотаешь“. В результате недовольство собой, никогда не прекращающаяся нужда. И то, и другое, с недосыпанием в придачу, кажется, лишают его всякой возможности посвящать еще время „произведению“, а посмотрите, с какой любовью все это пишется, с каким упорством пытаются проникнуть в печать. Недаром масса уже заговорила о своих нуждах подлинными своими словами. А раз изведав обаяние печатного слова, рабочие интеллигенты даже таких углов не могут не тянуться к нему. „Одна только удача, т. е., напечатание чего нибудь написанного мной—трогательно писал мне один парень—может воскресить мой дух“.

Вывод мой таков: весь шел пятнами, как в оспе, по давнему выражению В. Г. Тана, рабочий человек.

Пусть это была одна работа разрушения, все-таки слава и делу разрушения: народная культура не стекло, рассыпающееся в дребезги под ударами молота. Все-таки слава тому времени, когда и медвежьи углы задумались общечеловеческими думками. Пусть развеяны надежды, „ен“ всколыхнулся до самых своих недр, а раз это так, психологический процесс механически не остановишь. Пусть руки висят, голова уже не может не работать.

Боль вогнали внутрь. Но как ни вгоняйте ее внутрь, она все-таки существовала, хотя и в скрытом состоянии. Наружу проявляясь нередко в отталкивающей форме, она все же толкала сознание самых низших слоев. Нужно лишь было смотреть процессу прямо в глаза, не смущаясь болезненными осложнениями. В нем объяснение уродливости, но в нем же те потенции, игнорировать которые можно было лишь из соображений, ничего общего с истиной не имеющих.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПРОБЛЕМА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РАБОЧЕМ СОЗНАНИИ

I.

Вопрос о взаимоотношении интеллигенции рабочей и нерабочей имеет свое прошлое.

Еще в начале девяностых годов вырос антагонизм между „идеологами пролетариата, выходцами буржуазной среды“, и передовыми рабочими в Петрограде. Последние, протестуя против опеки, стремились свести роль первых к функциям технического свойства, создавали „чисто-рабочие“ кружки. Позднее антагонизм перекидывается в Иваново-Вознесенск, хотя именно там влияние интеллигенции ослабляли местные условия более, чем где-либо в России, кроме Донецкого бассейна. Иваново-вознесенцы, раскиданные по разным концам страны, стали нарицательным именем антиинтеллигентского течения, создавшего „харьковского пролетария“ на юге. Еще позднее — среди железнодорожных рабочих Иркутска — появляется Махайский, впервые бросивший в массу лозунг борьбы „физических рабочих с умственными“ в 1902 г.

„Я обращаюсь к вам, — писал рабочий того времени. — вы, которые сделали первый шаг по пути сближения с рабочими массами, поставивши новые задачи на очередь, сделайте же и второй практический шаг к их действительному осуществлению. Призывайте рабочих всей России стать на равных правах с интеллигентами [1]“.

---

[1]) Рабочий. „Рабочие и интеллигенция“. С предисловием Аксельрода.

Однако, — поскольку проблема ставилась — ставил ее интеллигент-романтик, а не рабочий.

Слово интеллигент, как бранное слово, западало в голову пролетария, но западало стихийно, за немногими исключениями. Обосновывал же призыв принципиально, — в силу психологических мотивов, реакции против „героев и толпы“ — призыв „свергнуть своих собратьев по образу жизни от имени физических рабочих“...—интеллигент же!

Недифференцированность русского общества создавала возможность для буржуазной интеллигенции заражаться идеологией пролетариата. Но та же недифференцированность лишала пролетария запаса социально-экономических, идейно-политических понятий, тех, которые интеллигенцию и конкретизируют. Интеллигенция есть среда разнородная,—учили девятидесятники,— столь же разнородная, как классовая структура. Внеклассовой интеллигенции нет. Каждый класс, каждая социальная группа имеет свою интеллигенцию... Конечно, это факт, но факт после 1905 г., после политического опыта, пережитого пролетариатом, пережитого всей страной. До того этот опыт отсутствовал. До того еще пролетарий не „нашел себя“. Слабая же дифференцированность неблагоприятна для того, чтобы роль интеллигенции в пролетарском сознании выступила в сложности своей.

Чтобы вопрос об интеллигенции стал вопросом, в самом деле, пролетарским, нужно было, во-первых, чтобы в среде рабочей, в самом деле, сложилась интеллигенция рабочая; нужно было, во-вторых, чтобы интеллигенция не-рабочая разрушила все иллюзии, связанные с неясностью классового самосознания, чтобы капитал подчинил ее духовно, превратив в интеллигенцию буржуазно-классовую.

Это и видели мы после 1905 г.

1905 г., втянув рабочую мысль в сферы, где бьется пульс политической жизни, к труднейшим вопросам поднял ее сразу. Но интеллигенцию все еще воспринимает пролетарий не умом,

а чувством. Даже столь популярный в рабочей среде проэкт рабочего съезда, которому сопутствовала борьба против интеллигентов, давивших на передовой слой рабочих, не ведет к необходимости обнять взаимоотношение это с высот рабочего сознания, шагнувшего вперед.

Проблема интеллигенции, как очередная, как объект умственного возбуждения, встает в остроте перед демократией лишь в дни, когда „идеологи“ вдруг ушли, и рабочий ощутил этот уход не как благо, а как зло. Произошло это после 1907 года... И чувствуя ответственность перед массой, пролетарский авангард, высоко стоящий качественно (значительный уже и количественно), обращается во внутрь своего „я“.

Конечно, пришлось признать факт: „прошло уже то время, когда громадная масса интеллигенции (не-рабочей) воспевала рабочего, проникалась его идеологией, шла на служение к нему и болела его скорбью“, как ни „удивительно было то, что эта измена совершилась так быстро“ [1]). И вот—по мере того как интеллигент-рабочий—рабочий-секретарь, казначей, член правления, председатель,—учится говорить на тему, делать доклады, управлять собранием; по мере того, как лектора-кооператора со стороны заменяет лектор, кооператор, публицист свой, выступающий с резолюциями, возражениями даже на либеральных съездах,—зреет новый вопрос.

В то время, как вчерашний „идеолог“, сегодняшний составитель законопроектов, докладных записок, промышленных организаций, усваивает себе ту истину, что пролетариат— это „чепуха“, что сначала надо „выявить личность“, а потом от избытков уделить и пролетариату, профессиональная рабочая пресса,—последовательная более, чем до тех пор,—обращает взоры к интеллигенции, прошедшей школу пролетарских организаций. Рабочих газет еще нет, но издательство „Дружба“, правда, достаточно бледно, пробивает дорогу этой интелли-

[1]) „Открытое письмо М. Горькому“. „Бакинский Рабочий“, № 7—8 от 27 сентября 1908 г. (Подпись десяти рабочих).

генции. „Их много, они все из народа,—заявляло издательство,—они сами народ, и к их голосу, к их словам будет прислушиваться читатель из народа“. Того же типа журнал „Народная Семья“, который писал: „Мы пытаемся отыскать корабль интеллигенции и не находим. Правда, он еще не разбит, не сломан, но „руля и ветрил“ уже нет, он потерял их в борьбе с бурей, не выдержал той лавины, которая хлынула на него в 1905 г. А корабль народной интеллигенции... он еще не ясен, его трудно различить, но он есть... Медленно, черепашьим шагом, но уверенно он идет в великий океан жизни“ [1]). Медленно, черепашьим шагом потому, что интеллигенция эта—один из этапов по пути европеизации нашего пролетариата; интеллигенция просветительных обществ, профессиональных союзов, народных университетов, рабочих кооперативов заявляла это о себе в годы реакции, шедшей извне и изнутри. Заявляла не только в печатных, но и в рукописных изданиях своих: в „Огнях“, „Живом Слове“, „Порывах“, „Учительском Вестнике“. Карьеризм, жизнь для себя разъели „старшую сестру“, „в редеющие ряды ее нет притока свежих сил“, „новая сестра“—„младшая“—„подросла, окрепла, делает свое дело на фабриках, заводах, в тесных мастерских“, — слышите вы от рабочих об интеллигентах нашего круга [2]).

„Ушло то время, когда за русский народ, за русскую трудовую силу думали и заботились другие. На собственные ноги становится народ,—восклицает один из них,—в собственные руки берет свою судьбу, и смутно еще, глухо еще, но тянется упорно и непреклонно к своей правде. Тянется к ней и толкает вперед свою интеллигенцию“. „Кому ближе всего народная культура?—спрашивает другой.—Кто сторожит и бережет эту культуру? Ответ один—интеллигенция из народа. Та интеллигенция, которая вышла из народных масс, которой ближе всего народные интересы. Народная интеллигенция, и только она, может заполнить брешь в сознании народа“. Правда, это не язык одного порядка мышления. Но одного порядка мышления и нет. Новая интеллигенция, в свою очередь, соответствует различным группам пролетариата.

Культурный облик в целом таков. Внизу—массы, конечно, отсталые, близкие еще к земле, массы, уже втягивающиеся в стачку, но все же свежие, еще не изведавшие классовой борьбы. Затем промежуточный слой—молодежь, выросшая и созревшая после 1905 г.: ключ жизни, ударивший снизу, ярко выступивший в свое время из корреспонденций рабочих газет. Понятно, испытав на себе влияние организаций, юноша все же больше живет настроением, чем мыслью. Раньше для него практика, позже—теория. Присмотритесь к нему в момент, когда вспыхивает огонек пролетарских идеалов. Он—оратор, организатор, энтузиаст, инстинктивно чувствующий свое классовое положение, инстинктивно становящийся под знамя марксизма. Однако, вглубь марксизм идет недалеко... Поскольку же организационно-просветительная работа подготовляет слой, проявляющий самостоятельность в области мысли, перед нами—идейные верхи, рабочая интеллигенция в узком смысле слова. Связь обоих элементов ясна. Все же не менее ясна и грань. Рабочий-интеллигент—не „профессионал“ былого типа, отрывавшийся от масс, вырабатывавшийся в рамках кружков, на руководителя-интеллигента смотревший снизу вверх, но и не пылкий юнец, получивший крещение по листкам, по брошюрам, по лекциям. В вопросах движения, литературы, политической экономии чувствует себя он не слабее, чем интеллигент-разночинец, ушедший творить национал-либерализм.

Однако, идейные верхи нельзя отделить от их среды. Европейский рабочий по своему происхождению полу-рабочий, полу-ремесленник. Наш же рабочий по происхождению полу-

[1]) „Народная Семья“, № 2. „От редакции“.

[2]) „Учительский Вестник“, № 10—1913 г. Н. Рогожин. „Народная интеллигенция“.

крестьянин по сей день: последовательность эта не изжита. И вот результат: молодежь рабочего класса, втягиваясь в организации, прессу рабочую, мыслит полукрестьянски. Очень часто мысля свой антагонизм с буржуазией примитивно, открывает она почву для анархизма, синдикализма, просто авантюризма. Конечно, ход вещей уведет рабочую молодежь и от того, и от другого. Чем глубже классовый инстинкт, чем дальше рабочий состав от вчерашних крестьян, не успевших вывариться в котле, тем цельней, тем типичней рабочее сознание. Но рабочий-интеллигент—плоть от плоти этой молодежи, хотя он больше читал, больше думал.

Вопрос об интеллигенции и иллюстрирует это перед нами. Понимание ее рабочим отнюдь не едино. Пролетарий-коллективист смотрит так, пролетарий-субъективист иначе, босяк по духу иначе еще,—и различие это не мелочь.

Что собственно случилось? Интеллигент-рабочий нашел самого себя, как нашел себя интеллигент нерабочий. Но признать это значит заглянуть и в прошлое, и в настоящий день этой интеллигенции, столь расплывчатой, туманной в течение десятилетий, столь выявившей свои очертания сейчас. И вместе с тем отметить, что говорит, что думает о вопросе столь старом, но вечно юном и пролетарий-индивидуалист, и пролетарий-„народник", и пролетарий-марксист.

II.

Стоит „человеку из народа" добраться до пера,—открывал фельетонист черного пятилетия,—как он непременно, фатально выведет на клочке бумаги: „интеллигенту анафема", выведет так, „будто удар кулака". Конечно, фельетон был поверхностный, благо „бумага была... гг. Битнера и Поссе, а „кулак" М. Сивачева. Однако, одного типа понимание—понимание рабочего нигилизма—глядело и глядит из этих строк метко.

Родоначальник махаевщины в свое время отрицал, что „избивающие интеллигентов хулиганы—поголовно оплаченные

изверги, разбойники, ничем не отличающиеся от шпионов, побитые же ими интеллигенты—невинные жертвы на алтаре свободы". „Черносотенцы,—уверял апологет хулиганов,—бьют своих господ, которые, не довольствуясь тем, что живут грабежем рабочих, пользуются еще самой рабочей борьбой для полного укрепления своей паразитной жизни" [1]). Справедливость требует заметить: максималист-пролетарий не повторил с злорадством максималиста-интеллигента. Но „анафема интеллигенту" убийственно зла и в его устах.

Наш отрицатель не мог проявить себя печатно. Ни один профессиональный журнал, ни одна рабочая газета не отмечена его мировоззрением. Не мало брошюр, даже книг написано рабочим-интеллигентом. Исключение же из них лишь... „Записки литературного Макара"... Значит, это—течение рабочих-одиночек, столь скудных идейно, что им не под силу все то, чем живет пролетарский авангард. Уже потому о глубине анархистских воззрений говорить нет нужды, что рабочий нигилизм—следствие перевеса настроения над миросозерцанием. Однако, закрывать глаза на него не должно. Как раз в те дни,—дни интеллигентского распада,—в ряде предприятий разразился кризис с обычными своими последствиями. Сперва на казенных, потом на частных фабриках и заводах рассчитывались рабочие-интеллигенты, которые буквально оставались на улице. Где те условия, которые бы не дали опуститься „сознательным" на торную линию примитивной стадии борьбы? Удар за ударом сыплется, отступает возможность деятельности прежней, мысли и чувства становятся хаотичнее. До 1907 г. деятельность группы махаевцев влачила интеллигентское существование. После же того впервые в числе ее адептов видим сознательных рабочих. Печать оказалась им недоступна. Доступны оказались организации, кружки, в которых рабочий анархизм и развернулся, если не на деле, то на словах.

---

[1]) А. Вольский. „Буржуазная революция и рабочее дело", стр. 72.

Конечно, подъем—промышленный подъем 1912 г.—эту атмосферу разредил. Все же—как ни скудна почва для максималистской психологии в рабочих идейных верхах—попадают в ряды люмпенпролетариата в каждый данный момент одиночки не малой умственной культуры. М. Сивачев,—безработный слесарь, „шесть лет смотревший на людей, олицетворяющих собой цвет современной культуры“, шесть лет певший анафему интеллигенту,—школу самообразования прошел; критик рукописной рабочей „Зари“—с явным уклоном к анархизму, как и внутренний обозреватель „Гуслей-Мыслей“ [1]).

Когда-то Шелгунов отметил любопытный факт в своих „Очерках русской жизни“: когда в печати становится глухо под давлением темных сил, оживает частная переписка. Но Шелгунов в те годы имел в виду интеллигентов верхов. Теперь это применимо к интеллигентам-пролетариям. Люмпенпролетарий, как видно из писем, которые перебывали в моих руках (наряду с рукописями), исключения не составляет.

Автора этих строк один безработный удостоил таким письмом, после того как философия босячества была названа мертвой. „Вы подошли к этой философии,—писал он,—с обычного шаблона, применимого к представителям интеллигенции, у которой философия, в большинстве случаев, действительно мертва, ибо резко расходится с их поступками. Господа интеллигенты—великие мастера строить в мысли блестящие перспективы, но как только дело коснется реализации этих перспектив, слов океаны выкидываются, на все лады судят, с какого конца за бревно взяться... Гул в воздухе колом стоит, а бревно все ни с места. Даже и крик-то несурьезный, с оглядочкой... Чтобы жить гармонично, чтобы строить прекрасный дворец жизни, нужно согласовать мысль и волю. Пламень порыва делает мысль нашу острой. А если и хочется, и колется, и мамашенька не велит, так нечего и языком еще

[1]) Об этих журналах см. том III настоящей работы.

трепать. В вас, господа, нет пафоса, нет торжествующей воли. Жизненный образ у вас удивительно тусклый, и тоска по солнцу не выходит за пределы платонического. Вы вот проповедуете ваш пантеизм, и не вам поэтому говорить о мертвой философии. Мир таков, каким мы его творим, и если мы сотворим его на подобие тоскливого осеннего дня с грязью и дождем, не сами ли мы продрогнем в нем до костей? Вот почему я не с вами, а уклонился в бесплодный, по вашему, анархизм“. По форме это был вызов, вызов безработного, которого ударил по больному месту интеллигент, и он, в свою очередь, желал ударить интеллигента.

Когда же, однако, завязалась переписка, то оказалось, что то, что интеллигент не живет так, как исповедует („как бы его, раба божьего, не того... по какой нибудь статье“...)—дело второе перед более общим. Вот оно, более общее...

„Я вот ходил по белому свету, приглядывался к людям, думал и пришел к такому выводу. Нет никаких норм над тобой, кроме тех, которые ты сам создал для себя. На все ты имеешь право, что можешь взять. Живи сам для себя. Ни на кого не надейся, кроме самого себя: поскольку ты будешь сам по себе силен, постольку и жизнь твоя будет ярче и интенсивнее. Поэтому увеличивай свою силу: за что я буду бороться, это моя индивидуальность“,—читаете вы. Но... „поди-ж ты! С разных сторон доказывают спасительность всяких норм и рамок, создаваемых одним человеком для другого. Живут себе на белом свете Иван с Никитой да работают, а Сидор с Пантелеем правила жизни для них придумывают и созидают и прокормления за это требуют“.

Сидор с Пантелеем, конечно, „класс образованных“. „Слыхал я об одном профессоре, который так говорил о нравственности,—читаете далее:—оно, конечно, что маленечко не того... подгуляла нравственность-то... на обе ноги хромает... А все-таки шатание большое будет, ежели развалится она... Нет бога, так нужно его выдумать. Нравственность,

нация, государство, общее благо, наука, отечество... Интеллигенты вещают с кафедр о воле фикций этих, и льются длинные речи, и засыпает человек и не видит в тумане слов этих, что о том только и толкуют, в какую бы клетку загнать еще человека". Словом, ежели не имеют ни земли, ни фабрики, ни прочих предприятий интеллигенты, то владеют они знаниями, на коих строят правила господства человека над человеком. „Кипит сердце от негодования и хочется крикнуть на весь мир",—волнуется интеллигентоед: „Чорт знает, кто и что не требует себе поклонения и служения. Воистину ищут бога, ищут чорта, не найдя самих себя"... На весь мир... И Рудин, и Базаров, и Андрей Кожухов, и исторический смысл, и сегодняшний день интеллигенции—для него одно пятно. „Все десятилетия интеллигенты тэм и занимались только, что идолов возводили, узды и недоуздки человеку придумывали. Из всех углов слышался писк мышиный, охи, вздохи, жалобы: то не хорошо, другое плохо. Выдумают же божка какого-нибудь и—рады". Например, разночинец когда-то ходил „в народ", потом „в рабочий класс". „Создаст оный химеру, первый же уверует в нее... Меня же одно удивляет: откуда он и ему подобные взяли себе привилегию на „пролетарское мышление?" Мне кажется, что им-то менее всего подходит звание пролетария. Ежели же, несмотря на это, монополия на рабочую мысль ими присваивается, то мысль рабочая требует, чтобы человек отказался от себя и служил только им, пекарям уставов, правил поведения". Теперь же интеллигент-пролетарий не прочь от „прав-обязанностей различных". Опека барина-социалиста пришлась по вкусу: „Вместо идола, живущего на высотах, пролетарий склонился перед идолом, живущим на земле, да еще других принуждает преклониться. Смешно даже становится и горько".

Конечно, это взгляд „социолога" без дороги. Критерий интеллигенции—критерий класса, в производственно-экономическом значении этого слова. Лишь исходя отсюда, можно

сказать без ошибки, что „нормирует", что должен „нормировать" интеллигент-дворянин, интеллигент-разночинец, интеллигент-пролетарий. Люмпенпролетарий же исходит — говоря просто—из своих „личных" аппетитов. И это не случайно. Бытие определяет взгляд. „Какая польза от увеличения производства,—пишет он между прочим,—если результатом этого увеличения я не пользуюсь". Его „польза"—коммунизм потребления, ибо из рамок производства вытолкнут он. Его стихия—паразитизм, хотя и идейный. „Я вижу, что грядет этот человек, не окутанный моралью, умеющий жить в себе и для себя. Не в том цель анархизма, чтобы городовой и босяк в умилении лобызали друг друга. А в создании человека, разрушающего то, что создал, дабы дать место новому, вечно новому... вечно новому". „А в создании человека, умеющего брать и брать",—не унимается наш ницшеанец,—значит, интересов культуры никаких, а свобода от норм, от обязательств, независимо от их содержания. Конечно, это анафема науке,—всему тому, чем живет интеллигент—прежде всего. „Брать" легче без норм, чем при нормах...

III.

Понимание босяка мутное, сказал бы я: какая-то мысль об озорстве,—не о положительном в жизни—чуется за ним, ненависть к действительности, как к действительности. „Из жизни своей сотвори легенду... Я не знаю, где вычитал эти слова, а может быть они даже и мои,—характеризует себя наш босяк по духу,—но они давно уже преследуют меня. Еще когда подростком я уезжал в Питер, кто-то незримый нашептывал мне эти слова: из жизни своей сотвори сказку... В сказке действенной, творимой и переживаемой обретешь ты радость свою. И я творил ее, шатаясь из города в город по лицу земли русской. Каждый город, в который входил я, давал мне долю очарования. Чудилось в нем что-то... что-то, что... Я уходил из него разбитый... Но знаете, что я вам скажу.

Вся сказка заложена, ведь, в человеке, в нас самих. Бояться нечего, что может погибнуть человек, и не видав своей сказки".

Но вот пролетарий, вышедший из деревни, над которым деревня еще сохраняет власть. „Свалил в одну кучу всех „освободителей", смешав все пути и перепутья в течении русской общественной мысли",—говорит Н. Афанасьев (до 17 лет служивший в артели, после—в торгово-промышленных конторах) по адресу анархизма [1]). И отмежевывается он от него по праву.

Насколько полукрестьянин жив на фабриках, на заводах, показала народническая газета. Из 12.000 экземпляров, в которых расходилась „Мысль", фабрики и заводы требовали немного. Приток корреспонденций фабричных был не обилен. Но в предприятиях мелких, торговых, питающихся наплывом крестьян, разоренных, выгнанных из деревни, газета читалась бойко. „Мысль" привлекла рабочих, писавших и об интеллигенции на ее страницах. В особенности много статей о ней в „Народной Семье", которую и исписывал, и редактировал— в противоположность „Мысли"—именно пролетарий.

Это не был пролетарий фабричный. Среди руководителей один лишь работал на заводах. Корреспондировали все приказчики, коробочники, кондитеры и т. п. Проблему самую ставили Н. Афанасьев, уже цитированный нами, Гремяк, „Читатель из народа", классовое лицо коих расплывалось в неоформленных контурах. Но—хотите знать, как мыслит интеллигент-пролетарий, одной половиной обращенный к городу, другой к деревне? Прочтите не „Мысль", а статьи, шедшие в пяти нумерах „Семьи". „Теперь, когда мы, дети народа, начинаем создавать исторические явления, прикладывать ко всему свой критерий,—говорил журнал,—роль интеллигенции, не испытавшей на себе то, что испытывает рабочий или мужик,—выясняется-таки с довольно нелестной стороны" [2]).

---

[1]) „Живое слово", 1911 г. № 16.—Н. А. Афанасьев. „Народ и интеллигенция", стр. 12.

[2]) „Народная Семья", № 5.

Какая внимательность в деталях! Столкновение двух течений интеллигентской мысли—столкновение, так ярко запечатленное покойным Богучарским; кающийся барин-народник; „шире дорогу—восьмидесятник идет"; интеллигент дней подъема, интеллигент „Вех"—нет момента, который бы не занимал публициста „Народной Семьи" и как часть целого, и сам по себе. В то время как босяк по духу „плюет с высокого дерева", пролетарий-„народник" пытается быть конкретным, с птичьего полета не подходить.

Конечно, народник он постольку, поскольку в глазах двоится, поскольку расколота его психика. Однако, механизм противоречий давит... Относительна отсталость процесса оформления психических черт данной среды, и выходит Федот да не тот. Н. Афанасьев так характеризует точки соприкосновения между „мы и они".

Вот двадцатые-сороковые годы: „перед нами ушедший от общества Печорин, скучающий Онегин, не имеющий к чему приложить руки Бельтов, благородный Рудин—кроме разочарования, неприятия мира внутренне (ибо внешне они очень и очень уживались в мире), кроме пышных, красивых фраз, они, эти возвышенные люди, ничего не делали. Когда с этой кучкой дворян столкнулся кутейник-семинарист, то он написал: общее у всех этих людей то, что в жизни нет им дела, которое бы было для них жизненной необходимостью. Ибо нельзя подрубить тот сук, на котором сидишь сам". Вот „страдная пора" семидесятых годов: „Федька великодушный, прости меня!"—взывала к народу интеллигенция этих годов. Федька не понимал этого. Правда, это настроение продолжалось недолго, и интеллигенция скоро поняла, что, радея о мужике, она сводит на-нет свою личную жизнь, свое „я". И интеллигенция заявила: „Да, довольно, довольно-с этого одурения. этого кошмара! Позвольте и нам, не мужикам, позвольте и нам предъявить свои, наши, не-мужицкие требования! Да-с, без скорби, без тенденции! Интеллигент в минуту покаяния

воскликнул: „пусть секут,—мужика секут же“, но и это оказались слова только“. Афанасьев не „кидает упрека интеллигентам прежней старой школы“. Он отмечает лишь отношение к народу их, психологически далеких от народа, „понимавших умом мужицкое горе, но никогда не чувствовавших его сердцем“. Вот год перелома: казалось, пропасть исчезла. Но,—увы!—так казалось. „Пролетариат, народ не оправдал надежд интеллигенции. Захотелось жить для себя и за себя, и покаялись Савинковы, Бурнакины, ибо приятнее сидеть где-нибудь в десятом ряду в театре и смотреть „Синюю птицу“, чем путешествовать на казенный счет по Якутской области“. Конечно, эта метаморфоза—не новость. „Но наше мещанско-буржуазное общество не постеснялось в деньгах. „Посрамите социализм, докажите его убожество—заплачу, мол, я вам по первому разряду“. И началось посрамление. Вчера еще слагали панегирики во славу социализма, сегодня уже посрамляют его“. Наконец, вот интеллигент фабрики, завода, прилавка. „Мы уже говорили: не понимал прежде Федька. Теперь Федька понял. Теперь Федька, пришедший из другого мира, говорит: „Гг. интеллигенты, нам по пути; только вы, вероятно, остановитесь в Твери, а нам придется ехать дальше до Москвы. Если вы хотите быть нашими попутчиками,—мы едем с вами. Но едем, как друзья-товарищи. Если же вы вздумаете повышать голос, мягко приказывать нам, то мы скажем вам: руки прочь! Мы доедем и без вас, без вашего благосклонного содействия“...

Субъективисту, в глазах которого интеллигенция вне сословий, вне классов,—социологически, группа „критически-мыслящих личностей“—этически, очевидно, это не улыбнется. Слепым историческим процессом оторванные от „народа“, мы—чужие ему,—твердил субъективист когда-то,—но мы не враги его, ибо „сердце и разум наш с ним“. Афанасьев же как раз это опровергает, исходя из того, что интеллигенция выражает борьбу классов и социальных групп, отражает

интересы их. Отсюда до социально-экономического понимания был бы один шаг, если бы в этом пункте не следовал прыжок с социально-экономической в социально-этическую плоскость.

Полукрестьянин по духу механизм классовый видит, но видит в низших, затемненных формах капиталистических отношений; от его положения зависит, насколько проникает он вглубь, как представляет себе, что есть в этом механизме, что должно быть. От того в иное не вникает он вовсе, в иное вникает, но отчасти. Противоречия, пройдя через его сознание, выступают путанно. Усвоив, что народ состоит из классов, тем не менее, склоняет Афанасьев „народ“, „народную интеллигенцию“ так, как будто классовая структура здесь не при чем: он отделить не может, где право, где факт, охватить соотношение сил, борьбу коих интеллигенция и выражает, как соотношение сил... И вот прыжок.

Кажется, „надо чувствовать сердцем ту великую неправду, которую принесли с собой мы“,—по его мнению. Факт же таков: рабочий чувствует так, интеллигенция иначе. „Не идеалов ваших интеллигентских не принимаю я, но мира-то вашего, жизни живой, реальной я не могу принять“,—бросает Афанасьев.

Что это значит, разъясняет нам Гремяк, конечно, тоже стоящий на том, что „народ, тратя нечеловеческие усилия, создает свою собственную интеллигенцию, выдвигает своих представителей мысли и слова, и эти народные силы произведут новую переоценку всех интеллигентских ценностей“. „Мы,—заявляет Гремяк,—это только начало выступления народных сил“. Однако,—пока переоценка идет,—какой упрек бросает он „господам хорошим“? „Вы прячете от всего народа ваше искусство, делая достоянием только избранных. Кто дал вам такое право? Вы не хотите понять, что вы не имеете права не знать, что перед народом лежат более глубокие интересы, чем ваше витание в мире грез. У нас еще слишком много невысказанного горя, много не понято

чувств и желаний, много неразгаданных стремлений, но помогли ли вы нам высказать, понять и разгадать все это?"

Итак, „господин" чувствует по-господски. Это яснее, чем когда-либо раньше. Но факт—фактом, „право—правом". Что же это за „право"? Теперь „каждому рабочему известно", что пока Брюсовы, Белые, Сологубы проходят среднюю и высшую школу,—читаете вы,—они стоят народу по 50.000 рублей. „В переводе на язык народной действительности затраченная сумма на образование каждого равняется тысяче крестьянских коров. Иными словами, чтобы дать образование и развить таланты Брюсовых, надо было продать тысячу крестьянских коров и оставить без молока десятки тысяч крестьянских детей. Чем же платят народу гг. Брюсовы за эти жертвы? Ничем абсолютно! Они сидят на спине того же народа, побалтывают ножками, дуют мыльные пузыри и восклицают: посмотрите, какая красота в этих пузырьках! Тысяча коров и мыльный пузырь. Не слишком ли мало? Пуская туман в глаза, вы говорите, что ваши творения обнимают идеалы человечества. Как это громко звучало бы в устах нашей интеллигенции, если бы она не сидела на шее только одного русского народа" [1]).

С народом „сердце и разум" интеллигента из народа: „сердце и разум" интеллигента-либерала не с народом. Но „права" у него на это нет, ибо он должник перед народом: „затем и жертвовали мы вам по тысяче коров". Так, приняв взгляд, что каждый класс, каждая социальная группа имеет уже интеллигенцию, пасуют перед развитием этого взгляда Н. Рогожин [2]), А. Сиверков, Р. К. [3]) и пр. пролетарии этого типа. „Долг" имел бы место, если бы имел место „орган национального сознания" в обществе, разделенном на классы. Но органа такого не существует. В обществе, разделенном на классы, и чувства, и мысли втиснуты в классовые рамки. Вот эти-то

[1]) „Народная семья", № 4.
[2]) „Учительский Вестник", № 12—1913 г.
[3]) „Друг Народа", №№ 1 и 2.

рамки, определяющие содержание общественных отношений, полукрестьянину не даются, пока он полукрестьянин по духу.

Отсюда манера выражаться так: „изменили", „предали интересы народа", „продались за деньги буржуазии в момент безработицы, голода, нищеты духовной полутораста-миллионной России",—манера, просто говоря, сердиться.

IV.

Отношение приведенных выше групп к интеллигенции не деловое. Лумпенпролетарий дел с ней не имел в области рабочей культуры. Рабочий-„народник" имел дело с ней в отдельных группах, в органах печати. Но группы эти были случайны, как и органы печати... В рабочих же союзах, кооперативах, просветительных обществах он отступает перед рабочим-марксистом.

Дорога организационной жизни—дорога марксизма. Борьба за печать, стачечная кампания, страховая, деятельность фракции думской—нет формы рабочей культуры, которая бы не была запечатлена им. Конечно, интеллигент верхов соприкасался з а р а б о т о й с рабочим-марксистом. Вот почему к проблеме интеллигентской пролетарий-марксист один подходит без романтизма.

Правда, была минута, когда и он дал волю чувствам. „Впечатление от метаморфозы так живо и остро,—отмечал он в 1908 г.,—что доводы разума не могут побороть чувства глубокой обиды. Обидно за тех, кто когда-то также горел святым огнем чистой веры в совершенство жизни и человека, а теперь подвергает поруганию и эту жизнь этого человека" [1]). Но минута была минутой—не более. „Гг. интеллигентам собственно и нет нужды особо думать о кровных интересах рабочих,—в огромном большинстве случаев интеллигенты и обеспеченнее рабочих да и бесправие общее,

[1]) „Открытое письмо М. Горькому". „Бакинский рабочий", №№ 7 и 8—1908 г.

во всяком случае, менее отзывается на интеллигентах" [1]). Ну, с глаз долой—из сердца вон. „Предвыборная кампания и все такое, нас мало касаемое... Живем, слава тебе, господи, тихо и спокойно,—шутит рабочий из Елизаветграда.—На-днях мы отвели душу на студенческом гулянье в городском саду. Играли марш, был фейерверк. На открытой сцене были разыграны вызвавшие общий восторг прелестные вещицы: „Дорогой поцелуй", „Кого взять" и „Красивая женщина". Оч-чень хорошо. Наводит на приятные размышления. Кого взять? По-вашему, может быть, кадет хочет взять прогрессиста, прогрессист октябриста и т. д. А по-нашему красными буквами на саженной афише: „Кого взять?"—„Красивую женщину". Умные у нас гг. студенты" [2]). Только после этого уже не ждите: „милые господа, а тысячи коров!..".

Однако,—прежде чем разбирать самую оценку интеллигента,—посмотрим, о каком интеллигенте здесь речь.

Когда целое в тумане, когда лицом к лицу с ним не стоишь, какая-нибудь частность подчас выростает несоразмерно. Романтизм таков собственно и есть. Здесь же классовая борьба в целом—центр внимания: фабричный режим, обстановка, в которой влияют профессиональные, политические газеты, клубы, организации. Жизнь слишком бьет со всех сторон, и объект внимания—интеллигент, ежели он „спица в колеснице".

Вот „бывший товарищ, ренегат", а теперь администратор столичного машиностроительного завода, позволяющий себе кричать рабочему, не имея к тому повода: „мерзавец, подлец, за ворота захотел". „Не мешает вспомнить бывшему лидеру оппозиционного студенчества, — отмечают пролетарии, — его слова во время одной забастовки, когда он говорил, что рабочие должны поступать корректно и вежливо, а не итти

[1]) Письмо рабочего Андреева. Из анкеты, затеянной Н. Афанасьевым в „Живом Слове", на тему „Интеллигенция и народ".

[2]) Эта и следующие цитаты взяты из корреспонденций рабочих.

на эксцессы. Как видно, этот афоризм ренегата приложим лишь к рабочим; а гг. ренегатам на роду написано быть бурбонами". Вот „П. П. Рябушинский, который еще недавно говорил о культурной форме правления, теперь же принимает меры, чтобы сорвать ленскую забастовку. Это ли не культурная форма расправы?" Вот—„одна из бывших демократок, побывавшая в местах не столь отдаленных, но, очевидно, разочаровавшаяся в том, во что верила раньше. Как профанка в техническом отношении, она должна показать себя в типографии со стороны другой—на поприще чисто административном, а потому с первых дней своей службы принялась искоренять рабочий „вредный" элемент". Вот педагог, который два пути—добра и зла—наметил ученикам заводской школы: первый, когда рабочие, окончив школу, будут подобострастны начальству, второй, когда попадут под влияние организаций... Вот интеллигент, „приложивший много хитрости к тому, чтобы вытеснить рабочих из клуба, устроить там клуб для себя, существующий уже в течение ряда лет"...

Это—иллюстрация того, чем грозит распад интеллигентский на заводе, на фабрике, иллюстрация, которую находим у рабочего-марксиста. Однако,—как ни дает себя знать распад именно рабочему-марксисту—последний вместе с водой отнюдь не выплеснул ребенка. Растет духовно рабочий-марксист, мужает, занимает передовые посты. Вспомните имена многих и многих... Однако, сложен, очень сложен характер организаций, сложны, очень сложны задачи, стоящие на очереди,—умственных сил часто не хватает. Раз же так, нельзя не искать их во вне.

Физиономия интеллигенции изменилась резко. Но всегда же был и есть в наши дни—на-ряду с этим—слой, психический склад которого близок к психическому складу пролетариата. Есть и ряд переходных ступеней к нему.

„Свиньи ваши рабочие, вот что!"—такими словами встретил меня один из бывших с.-д., когда я приехал в Черкасы,—

рассказывает рабочий-корреспондент. — „В чем дело?“ — „Организовали мы здесь общество распространения просвещения в народе, лекции устраиваем, собеседования ведем, а рабочий в наше общество не идет“. — Я заинтересовался. Что нашего брата, рабочего, ругают и „бывшие“ и „не-бывшие“ интеллигенты, я знаю. Но что рабочий не хочет учиться, я слышал впервые. Я познакомился кое с кем из интеллигентов, заглянул и к рабочим. Но что же? Общество почти за год своего существования устроило 4 лекции, из коих две носили характер гимназический, одна же была такова, что, по словам учредителей же самих, нужно было удивляться терпению слушателей, высидевших лекцию до конца. Когда же объявили собеседование по русскому языку, географии, истории, арифметике, в первое же воскресенье пришло рабочих человек 60. „Но никто не пришел из интеллигентов“. Конечно, таких „не надо“ интеллигентов“. Но вот в Самаре одним из местных юристов был прочитан доклад „об обеспечении рабочих на случай болезни“ по инициативе самих рабочих. Несмотря на недостатки закона, докладчик был настроен по отношению к нему оптимистически. „По его мнению, из него можно сделать „конфетку“, при условии, если предприниматели откажутся от всех привилегий, даваемых им законом. Мы же знаем,—критикует рабочий, — что хозяева не окажутся настолько наивны и в „агнцев“ не превратятся“. Однако, в законе разобрался он, и разобрался благодаря интеллигенту. Вот лекция по искусству уже не юриста, а писателя интеллигента. Недостатки те же и по существу, и по форме. Но все равно. Рабочий-интеллигент сведений таких рабочей массе не дает. И то и дело слышите на фабрике, на заводе: „как жаль, что лекторов все мало. Товарищи-рабочие, приходите, не забывайте! В их пользе никто из вас сомневаться не должен“.

Отсюда, так или иначе, но ряд соприкосновений. То взывает к интеллигентам с просьбой помочь, чем мог, союз рабочих по обработке огнеупорного кирпича в Боровичах; то группа интеллигентов и представителей рабочих обществ образует комиссию по организации отдела охраны труда на гигиенической выставке; то та же группа проявляет себя в обществе народных университетов. Ведь членами его состоят все уплатившие двухрублевый взнос, и рабочий-интеллигент прилагает усилия к тому, чтобы внести этот взнос, проводить линию профессиональных союзов, культурно-просветительных обществ среди лекторов-интеллигентов. Вот, например, отчет о собрании портных. „В прениях о народных университетах раздавались голоса рабочих о том, что не нужно создавать иллюзий, будто рабочие свободны как в выборе лекций, так и лекторов, которых желают видеть в аудиториях своих. О свободе речи быть не может, пока условия представляют путы для самодеятельности рабочих“. Однако,—имеет ли место или не имеет выбор—точки соприкосновения с интеллигентом налицо.

Итак, править, управлять рабочим извне уже невозможно. Без преувеличения можно сказать, что возврата к старому уже нет и не может быть. Но и теперь—перед лицом рабочей культуры—интеллигент передовых идей не стал излишен. Если профессиональный журнал в состоянии поставить рабочий-марксист и технически, и идейно, то о газете этого не скажешь. Вот она в руках рабочих. Направление, отношение ко всем вопросам чисто рабочее. Однако, чтобы поставить газету, одного направления, одних призывов мало. Нужен опыт, опыт газетный, тот самый, который так значителен у интеллигентов. Без интеллигентов газета и не обходилась, по крайней мере, газета партийного типа.

V.

Понимание интеллигенции рабочим-марксистом отражает реальные отношения.

„Если допустимо призывать к замещению рабочими руководящих постов во всех рабочих организациях, если необхо-

димо, чтобы практикой движения руководили сами рабочие,— пишет рабочий К. Антонов,—все это выполнимо сейчас же, а при сложившихся условиях даже полезно,—то нельзя говорить, вообще, о замене рабочими интеллигенции. Ведь движению нужны не только организаторы и практические руководители; нужны также литераторы, ученые, художники, артисты, юристы и т. д. Возможно ли утверждать, что русские рабочие не нуждаются во всей этой интеллигенции!“ [1]). Правда, иначе думал рабочий Булкин и другие [2]). Но разногласия имели место и в организациях марксистов западноевропейских. Разгоревшись еще в девяностых годах, полемика об „академиках“—членах германской социал-демократической партии—перешла на обсуждение партейтага, оттуда на страницы органов печати рабочей. Тем естественней разногласие у нас, у нашей рабочей интеллигенции.

Одно очевидно: политическое пробуждение, интерес к политике с духом антиинтеллигентским—в том смысле, в каком это слово понималось в дни „экономизма“,—совместимы мало. Чем глубже внутренний процесс, пережитый рабочим, тем менее он и романтик. О долге перед народом орган рабочих города Самары, достигший высокой степени цельности, писал: „Чувствуя себя в неоплатном долгу перед народом и ставя целью служение ему, интеллигент-народник понимал народ, как нечто целое или как совокупность трудящихся. Народник-интеллигент строил свои идеалы на вере во всех трудящихся, иными словами, на фундаменте весьма шатком“ [3]). Как видите, то слово, да не так молвил Афанасьев.

„Разложение тех групп“, кого рабочий „привык называть интеллигенцией“ — разложение черных лет—в его глазах—

---

[1]) „Наша Заря“, № 5. К. Антонов. „Интеллигенция в русском рабочем движении“.

[2]) Тоже № 3. „Рабочая самодеятельность и рабочая демагогия“.

[3]) „Заря Поволжья“, № 2.

результат „усиления буржуазии с возрождением реформированной реакции“ [1]). Опять слово то, да не так молвил рабочий-„народник“.

„Материалистическое понимание истории дает нам разгадку всего этого“,—говорит рабочий-марксист. И это прежде всего так, пока речь у нас о роли интеллигенции в рабочем движении.

„Десятки лет рабочий был для социал-демократии только опекаемым несовершеннолетним ребенком,—писал Булкин.— От имени рабочего класса говорила и действовала радикальная интеллигенция. Она парализовала ум и волю рабочего. Эта опека привела к тому, что сознательный рабочий не воспитал в себе пролетарской мысли и воли. Радикальная интеллигенция, заполнившая ряды социал-демократии, пользуясь своим культурным превосходством, пользуясь стихийным настроением рабочих, воспитала последних в духе любви и преклонения перед фразой“. Булкин встретил, правда, отповедь рабочих, но отповедь относилась к выводам, которые делал отсюда Булкин. „Отсутствие у рабочих организационного навыка, приобретенного в других странах из долгого периода существования ремесленных организаций; правовые условия, сделавшие невозможным планомерно-организационное рабочее движение, а также книжная ученость интеллигенции,— констатировал, в сущности, то же самое отчитывавший Булкина рабочий Антонов—все это выдвинуло ее на передовые посты и позволило ей стать господином положения в рабочем движении“.

„Да, примыкая к пролетариату, но имея „пестрые мысли“, интеллигент не мог не распространять идей, „выработанных идеологами буржуазии“. Конечно, „скажем ему за работу спасибо, работу прошлых лет“,—решает рабочий-марксист. Критика этой работы должна быть объективна. Однако, теперь

---

[1]) Открытое письмо М. Горькому.—„Бак. Раб.“ №№ 7—8.

ему, прошедшему школу открытых организаций, создавшему культуру, которой по праву может гордиться, „пестрые мысли“ не опасны.

В то время как прежде рабочий растворялся в среде „белых ворон“, теперь эта „ворона“ растворяется в пролетарском котле. Правда, социальный состав избирателей в государственную думу—яркий показатель того, что голоса с.-д. суть голоса буржуазной демократии в немалой мере. Но это лишь подтверждало, что демократический интеллигент еще жив. Итак, пролетарский дух, работа масс, организационное руководство—своим чередом, друг-интеллигент—своим. Покрикивать, подобно тому как покрикивали пролетарии „Семьи“, не „материалистично“.

Едва ли я ошибусь, если скажу: так стоял вопрос о взаимоотношениях интеллигенции и рабочих в марксистских рабочих верхах.

КАРТИНКИ ПРОШЛОГО

I.

Стоит вот у стола это Яков. Блуза расстегнута, спина измазана дегтем. Стоит и думает. Всем надо есть, пить, одеваться, жить. И на четыре рта одни только руки: эти черные от работы плети. Они много вынесли на себе. Но работать надо, ибо есть тоже надо, и работаешь так—плюнуть некогда. Весь день покрыт потом. Весь день не отвернешься от стола. Разве сбегаешь в сени напиться воды и опять за работу.

Вот уж и вечер на носу. Рабочие с каждой минутой посматривают на будильник, скоро ли ожидаемая „семка". Но как ни стараются обойти, Кнутик зорко следит за этим,— смотри, виновный и пойман.

— Спешишь куда?—наступает Кнутик.

— Спешим.

— Успеете. Еще шести нет...

Но Ваня, Семен знают: утром, после обеда стрелка впереди, перед обедом, окончанием работы позади.

— Завтра же праздник. Часом раньше надо.

— Помыться, прибраться к празднику...

— Везде так: по городам минуты не упустят...

— Ну, без разговоров. Нам что города. Мы делать повинны так, как в Поцейках.

В прежнее время у поцейковца были все угодья—лес, пахотная земля, луга. В реке было рыбы вдоволь. И теперь на десятки верст лес. Но всему хозяин Зуда. И лес рубит,

и рекой владеет. Накупит палых животных, обдерет кожу с них. Но шерсть мочит не в пруду, а в реке. И вывелась рыба. От воды зловоние.

Теперь всего-то земли у Якова, что под избой: не то что корову, курицы не прокормить. Все по иному. Идешь улицей— пивные и пивные. Девушка песню поет, а срам слушать. И подростки туда же. Курят табак, водку пьют, сквернословят. Пойдешь к мастерским—и того хуже.

Это не мастерские, а сараи. Окна в сетках, а зимние рамы не везде. Посадческую так описал Ваня (другие к пьянству страсть имеют, а он к сочинительству):

Визг рольки, шуршание струга глухое,
Рыданье „собачек" печально тупое...
Скажите же правду мне, что означает
Рабочей груди моей частый подъем:
Но то ли, что жизнь в мастерской пропадает,
Что жизнь пропадает за черным столом?

Воскресенье. Звонят к заутрене, и черный люд спешит во храм просить Всевышнего: одному бы ссуду отработать, другому нужду пережить до платы за труд от Зуды. Нет только Якову за что роптать на судьбу. Эх, и благодарит же Яков за ее благоволение к нему...

На первых порах кожа полюбилась ему. Руки, не привычные к работе, ныли. Но он не отходил от стола. Хотелось так постичь работу, как другие, что работали вместе с ним. Одно было худо: били. Бил Кнутик, били все, кому не лень.

За битого двух не битых дают, и почти год работал Яков пробу. Деньги так и горят, а получишь когда два, когда три рубля. И на том спасибо.

Ну, пока срок, жил с хлеба на квас. Не знал, какую дырку заделать. Одну—другая зияет. И сколько этих дыр было! Не заделать их десятком целковых. В его же кармане

только два. И платье, и шапку, и кусок хлеба, чтобы не умереть,—не единым хлебом жив человек,—и еще десятки забот. Ведь все они—жизнь...

Но вот пришел срок. Завтра Яков посадчик. Завтрашний день для него порог, через который переступит в лучшую жизнь. Будет месячный.

— Денег зря не буду бросать,—думает он,—буду старухе отдавать.

Сошьет новую рубаху, штаны, тоже не хуже людей будет.

Вошел в контору, сел на стоявшую у стола табуретку. Тяжело говорить с мастером. Никто не знает, как тяжело. Хозяин привяжется, целый день зудит да зудит.

Зато и прозван Зудой. Но Зуда позудит и—будет. Иной же раз и пожалеет.

— Небось, голова трещит? Ну, к фельдшеру пошел...

Другое—Кнутик. Вот он—в черном фартуке, в кожаной куртке. Бородку рыжую разглаживает.

— К твоей милости,—заявляет Яков.

— Ну, ну...

— Поговорить о месячном.

— А сколько хочешь в месяц?

— Осмнадцать хотя бы.

— Много будет. Не дам.

— Ну, пятнадцать.

— Двенадцать. Хошь, работай... Время такое...

Мастер вышел во двор. Яков за ним.

— Не иначе?

— Нет. Была бы шея, хомут найдется...

— Ну...

Не докончил Яков—ушел. Вот тебе и посадчик! Вот тебе и месячные! Как по знаку чьей-либо руки, все вдруг стало хуже. Эта сырость да гниль, да копоть, что черным слоем покрывает столы и стены, эта грязь под ногами... просто терпеть нет мочи.

На дворе ветер. Пыль гонит клубами—итти трудно против. Рвет крыши с изб, шатает деревья в садах. „Не к добру расходился“, ворчат старики-поцейковцы.

К добру ли, не к добру... Как раз против ветра несет Яков ведро дегтю через улицу,—только бы не разлить. На улице шум. Ребятишки играют, бегают друг за дружкой и, что есть мочи, кричат: лови его, лови! В одной сорочке, в изодраных штанах, в черном фартуке Яков. Измазан дегтем и жиром, деготь и этот жир, вся грязь будто сжились с ним. Не отличить ему вонь дегтя от аромата одеколона, которым несет из окна парикмахера. Нос, что ли, с изъянцем?

Из окна же смотрит на черного сам выбритый парикмахер. По лицу пробегает усмешка. Будто с сожалением долго смотрит он на черного и говорит:

— Эх, гниет молодая жизнь... Человек ведь ты...

— Ни за что не взялся бы за мою работу?

Яков хотел было возразить на самодовольные слова парикмахера, но что возражать! Авось придется стать перед задачей: либо умереть, либо пойти к Зуде, наверное предпочтешь последнее.

„Или не видишь: свыклись мы с вонью дегтя да жира коровьего. Аромат же духов нам противен“,—подумал Яков и—забыл, о чем думал.

И думать некогда. День провертится, как заяц в мешке. А положил „собачку“ на место, пришел с работы, надо и дров нарубить, кадку воды нанести из колодца. Ко сну тянет всего, а и смолоть чего-нибудь надо. Все в кармане копейка-другая, чем бы мельнику отдать.

Эх, не был бы Яков женат, было бы легче, честное слово. Мать работает еще, сестра Паша в имении—нет хлопот, стало быть, с ними.

Что и говорить,—прежде не так рассуждал Яков. Часто наедине,—после свадебного похмелья,—Яков думал: однако,

и в его жизни не без радости. Родила Катерина ему Васю,—Яков нарадоваться не мог: кто разделит его горе? Кто утешит? Кто не оставит и даст поесть? Все это сделают дети.

Но справил крестины Яков, а на другой уже день, промыв сонные очи, спешил на работу. Дышал тем воздухом, потел, гнил и получал взамен плату только-только на жизнь одного. Грех сказать, чтобы Катерина сложа руки сидела. Она вместе с бабами взяла огород в аренду—заработала пятнадцать рублей.

А прожить мудрено. И прежде едва-едва хватало на жизнь заработанных денег. А теперь? Ведь три рта не один, а плата Зуды та самая, что и прежде. Или Яков валькер, шагренщик, банщик? Посадчик—Яков, так обойден судьбой, что хоть караул кричи.

Получка раз в неделю; ежели же в „банке“ остается, „на хранении“, просит, кланяется Яков. Но падок до рубля Зуда, как муха до меду:

— Иди, Яков, в лавочку...

А в лавочке хлеб, соль или сыр—все смаху на весы, и восьмушки, а то и другой нет... А дальше? Еще рот—Павлушка...

Седьмой год Васе. Летом скот кормит и выгоняет в поле у дяди Николая, за сеном ездит... Теперь же ноябрь, и изба у Якова выстыла.

На дрова денег нет, а Катерина стирку затеяла. Полощет белье в корыте. Яков кутает в пальто Павлушу, ходит с ним по комнате. Восьмая годовщина свадьбы, а Якову уколоть хочется Катерину.

— Семь лет каторжных работ,—говорит он.

Катерина выставляет вперед ступню, кладет на живот растертые до красна руки.

— А ты, скажешь, мне радость за тобой. Здоровей была бы, кабы в девках осталась. Есть же такие. И живут...

— Семь лет за шапку сухарей промаялся...

— Или я тебе не работала?

Еще не стара Катерина, а сгорблена, точно тяжесть на плечах. Хорошо бы подойти к ней поближе. Но нет таких слов...

Один круг,—как белка в колесе. Будь Яков холост, о, тогда... не задалась жизнь горькая, и мало церемоний. Теперь же не то. Как пораздумаешь об этом, сердце так и ёкнет, и что-то велит: не делай, Яков!

Ваня листок рабочий показал Якову: Зуду с Кнутиком прописали. Поди, Ваня и прописал... Пиши, пиши. Не было печали, так черти накачают.

Вот и с Пашей беда. Поцейки проснулись. Идут бабы за водой, валит дым из труб. Грохочут телеги по замерзшей улице. И никто-никто не знает, что в избе черного Якова,—вон, что в стороне, будто колос, покинутый в поле,—беда и плач.

Все, кажется, как было. Вот Яков бежит на работу. Где-то голосит старуха. Катерина картошку на сковороде жарит. Только Паша сидит у окошка.

Ночью пришла Паша из имения. Такая история: конторщик изнасиловал ее. Итти назад—нож острый. Лучше в воду, чем в имение.

И сейчас сидит у окошка Паша и плачет: слух пойдет по слободе.

— Что-то, мамка, будет? жалуется Яков старухе.

А старуха сгорбилась в три погибели, одним глазом в могилку смотрит.

— Там видно будет, сынок!..

Ну, Паша пожила с Яковом и в имение вернулась.

II.

Последний раз нанимался Яков на срок. Теперь работает уже „экстру“: в любое время может оставить работу.

Стрелка на семи, и рабочие, как один, сбрасывают фартуки, спешат мыть руки. Это—месячные. Им чем раньше, тем лучше. Яков же,—божий угодник,—старается. Еще часок, еще пять—шесть „пар“ десять копеек в кармане. Копейка же в рубль катится.

Будет чем заделать одну из дырок ему. Ой, как их много: четыре рта накорми.

Яков рад, что товарищи не трогают. Вот Кнутик пробежал:

— Налегай, ребята, налегай...

Хрипло завизжала за ним дверь, а Ваня того и ждет:

— Яков, не работай экстру. Смотри, без работы будешь...

Знает Яков: удлиняя время работы, он вредит и им, и себе. Им потому, что нарушает рабочие часы, десятичасовой день сводит ни к чему. Себе же здоровье портит, а оно ему дороже всего. Про это не мало теперь народу знает. Только старый Архип, не видя выхода из беды, Ване Зудой грозит.

Справедливы слова Вани:

— Опомнись, товарищ...

Да как вспомнит про все, точно иглой уколят Якова в больное место его тела:

— А что меня кормишь, „товарищ“, что ли?

— Накормим...

— Выкинет Кнутик,—вот тебе и „товарищ“...

— Ну, выкинет и без того...

Думает Яков, как оправдать себя... Вверху дождь шуршит по крыше, а крыша-то в заплатах. Каплет в посуду с дегтем, с животным клеем, в груды мусора с обрезками кож. Рядом ученик пищит жалобно так:

Маль-чиш-ка горе-мыч-ный,
Посад-чик мо-о-лодой...

Кожи таскать надо мочить во двор, а со двора в мастерскую... Но Якову не до кожи. Куда ни кинь,—ему не с руки.

Бросить „экстру"—семье с голоду околевать. Не бросить—тоже не лучше. Не родись хорош—пригож, родись сукиным сыном, думает он. Вот Паша... забеременела.

— Брось, Яков!

— Иди уж... будет по твоему.

Плачет старуха. Плачь, плачь, старая! Вот и работы не стало. Слова Вани сбылись.

Прежде Яков круглый год держался. Но в суставах боли не было. Болезнь долго не мог определить фельдшер. Все спрашивал:

— От водки горишь?

Только потом определил. Вот раз не вышел Яков на работу, другой не вышел—не понравилось Кнутику. Сезон кончился, и Якова не взяли.

Яков к Кнутику:

— Сделай милость,—я ни в чем не замечен.

— Не проси,—вытирает лицо полотенцем мастер. Отдувается после чая.

— Но какая причина?

— Не нужен ты мне. Хуже мыши выходишь.

Вот и причина. Ой, как плохо! В трехоконной избе Якова уже квартиранты. С вечера стол, табуретки, скамьи сваливаются в угол. На полу же спят в повалку мужчины, женщины, больные, здоровые. Катерина спины не разгибает. Набрала стирки да бьется, как рыба об лед. Но жить нечем: лавочка на книжку не дает.

Пойти бы и предложить себя Зуде, за какую он сам пожелает цену? Десять лет ведь сосал соки из Якова—десять лет. Опять таки: нехорошо это. Но обивает пороги, в ноги кланяется. Вот, улучив минуту, скулит Яков. В словах столько отчаянья. Но Зуда будто не знает ничего.

— Шляешься, шляешься, а зачем шляешься?—важно, с расстановкой зудит он.

— Выгнал ты меня...

— Выгнал! Слова ты свои оставь...

— Я ничего не говорю. Это твое дело... Ну, отправь хоть кого из учеников да возьми меня...

— Ах, Ирод окаянный!.. На фоминой возьму... не ко двору ты нынче.

Зуда щелкнул по счетам.

— Ну, так пятитку дай. По весне отработаю.

— Лавке долг есть?

— Как не быть... есть.

— Что же,—за мои хлеб-соль, да с меня еще деньги?

Нет, к стону Якова Зуда не прислушается. Пришел голодный домой и говорит:

— Хочешь жрать-то или нет?

Катерина перестает стирать, утирает брызги со лба рукой.

— Так неси самовар в лавочку.

Только и есть у них, что самовар да нужная одежда.

Еле-еле протянул зиму Яков. Работал у дяди Николая. Хуторянин-мужик. Голь безлошадная с надела,—глядишь, хутор округлил.

Дал ржи, ячменя, потом гороху, гречихи, и—все. Когда шла молотьба, Яков чуть не в полночь вставал. Работали спешно, не покладая рук. Тут же и Вася: бегал по кругу, погонял лошадей, таскал мерами крупу и пшено из ларей в мешки. А тем временем старухи не досчитался. Померла.

Поехала дровишек добывать. Ухабы да ямы, а все снегом занесло. Воз не раз опрокидывался, а поднимать не под силу. Да и одеженка плохая, ветер пронял. И приехала с кашлем и стоном.

— Бог милостив, живой вернулась... кх!.. кх!.. Думала, замерзну... кх! кх!..

Все бредила, старая:

— Эх, Яша, как жить-то будешь!..

Работает Яков, опять работает: взял после пасхи Зуда. Был бы здоров только.

На дворе тепло. Вон река, вон леса стена. Прорезана дорогой... Точно небо подпирает... И цветы полевые. Везде запахи, запахи. Только до них не доходит, до черных. Господи, неужели и все так работают, а не одни только черные!

Черных хоть отбавляй. Чтобы заручиться от нужды, и окрестный мужик старается отдать сына, другого в мастерскую. Черные руки дешевые, но беднеет землероб год за годом. Ну, как это везде и всегда бывает, по этому случаю поддаться не куда. И теперь, то и дело, слышишь в Поцейках:

— Бегу.

Лес пилить идут в лесопилки, рыть канавы, делать кирпич... Только старики держатся за Поцейки:

— Умрем да не пойдем.

Однако, работы эти на время. И люди двинулись в города. Ну, что-ж, свет не клином сошелся. Всюду нашему брату собачья жизнь, думает Яков. Стоит это он... с руками, засученными по локоть. Жерди вдоль и поперек развешаны. Между кусками кожи закоптелое окно.

Эх, где-то солнышко светит. Стоит и сам... строит план новой жизни. Но, к его огорчению, новый его план... куда бежать из этого ада, из проклятых Поцеек?

— Ноженьки-то мои...

Кнутик же, Кнутик такого страху нагоняет. Рабочие говорят: захочет Кнутик отнять,—последний кусок хлеба отнимет.

Не взял на фоминой ни Вани, ни Семена. Эх, быть „товарищем“, трудно работать при таких порядках. Каждый мерзавец, что поставлен над тобой, — подгонять, чтобы ты работал, — выругает из-за своего личного каприза. „Дурак“, еще вежливо, а частенько такое загнет; им, рабочим, и то неприлично слушать.

А все потому, что у Зуды раньше, чем у других, забастовки начались. У других еще работали тринадцать часов в день, и рабочие не знали, что такое забастовка. А здесь „товарищи“ требовали уже увеличения платы, уменьшения часов работы. Из первых были Ваня, Семен и другие. Начали смуту, и забегал Кнутик, как угорелый. Кого толкнет, на кого налетит.

— Понабрались спеси? Ну, мы ее собьем...

Одному дал расчет за то, что ходил по мастерской—инструмент свой искал:

— Сам не работаешь—только людям мешаешь.

Другой сам рассчитался: что ни день, то претензия. Работают не больше. Но обращение стало хуже. Одна угроза так и гуляет по мастерской:

— Стреляный воробей—не запугаешь.

Нету Вани, Семена и других, и все, как волки, которым не дают жизни. Не о других это Яков, а и о самом себе. Отдых для них—выпить. Жизнь такова: не пить нельзя.

Вот и Яков „не в себе“. Выходит в сени передохнуть. Кнутик тут, как тут:

— Ты что, морда собачья?

— По собачьи же, собака, лаешься.

— Протянуть бы тебя по спине.

И хвать Якова по шее. Стерпеть не стало сил. Пошел Яков к Зуде:

— С богом,—и разговаривать не стал.—Скатертью дорога!

А дошло до расчета, Зуда денег не заплатил.

— Подавай на меня в суд, — зудит он.—Через два месяца получишь.

Однако, не дал и прочим, прошел слух: дела плохо идут. Рабочие заволновались. Собрались у конторы — царь-голод согнал. Только вышел Зуда, толпа стала наступать.

— Что вы, братцы, делаете со мной? — растерялся хозяин.—Прижали, как на большой дороге.

— Нам денег подай.

— А вы станьте на работу.

— Дарма работать не желаем.

Зуда вдруг смягчился.

— У меня денег нет, братцы!

— Ну, будут у тебя когда?

— Обойдитесь до получки. В субботу отдам.

— Обещаешь уплатить?

— Али креста на мне нет... В субботу.

А в ночь на четверг мастерская выгорела. И мастерские, и товар были застрахованы, но на беду отстояли кладовую, а в кладовой—мешки, смоченные керосином, а на балках—маслянистые пятна.

Ну, теперь одна мысль: бежать. Одна дорога: в город. Пошел к дяде Яков. Просит:

— Будь отцом родным. Работница в хозяйстве не лишний рот. А поработает тебе Катерина за троих.

Николай не любил Якова, называл Яшкой—неуважительно так. И сейчас волком смотрел на него, точно не племянник он ему. Но Яков в точку попал: чайную открывает дядя.

— Ладно,—сказал он.—Возьму Катерину. И Васю возьму.

Вышел Яков, какие-то насекомые кружатся над рекой. Блестят на солнце, а то падают, как листья, одно за другим. Тихо. Только с пашни несется: „о-го-го-го“... да в траве квакают лягушки.

Идет берегом, сам не думая куда. Вдруг окрик.

— Постой!

Это Ваня. Тонкий такой, в куртке. Работает уже на лесопилке. Он и с виду похож на фабричного. Но по какому-то случаю все остается за стенами, где его цель. Яков остановился.

— С расчетом, Яков!

— Спасибо, брат... не дашь ли письмишка к Максимычу?

Максимыч—свояк Ване. Работает в городе, в вагонных мастерских. Однако, Ваня замялся.

— Чтож, идем ко мне... Только знаешь, брат, ушел Максим и котомка с ним... Худой о Максиме слух.

Дошли до его избы. Вид избы этой был невеселый.

Только и есть у Ивана, что изба. Когда-то выбелена была она снаружи, но от ветхости слезлива стала. Пошли желтые полосы по белому. Плетень кругом развален, и соседская свинья заходит во двор. Внутри тоже неуютно. Все полуразвалилось. Стол без ноги, скамейка расшатана. Кровать застлана тряпьем. Только полка пристроена к стенке—полка с книгами.

— Была, тетка, у собаки хата,—смеется Ваня.

Тут уже Семен: греет чай. Яков сел на скамейку, стал рассматривать портреты на стене: Максим Горький, Некрасов, Лев Толстой.

— Идет вот в город, Семен! — кивнул Ваня в сторону Якова и достал конверт и бумагу.

— А там нашего брата нет?

— Где нашего брата нет! И все пить-есть хотим...

Помолчали. Семен швырнул окурок.

— Иди-иди, человеком будешь...

— Все будем там,—напутствует Ваня.

III.

Все спешат... Муравьи, а не люди...

Яков тоже... Осматривается по сторонам, точно зверь, попавший за ограду. Осматривается по сторонам и не знает, где улица кончается, где начинается. Вот уже через мост идет Яков, по пути к пригороду. А все дома богатые, разукрашенные, вывески, витрины магазинов. Ну, и город!

Звенят трамваи, пыхтят автомобили, а Яков наш из тех Поцеек, что так теперь далеко.

Ехал-ехал Яков в вагоне—все думал: не вернуться ли в Поцейки. Ну, его к бесу, город-то... Думал так, а тянуло в город...

Забудешь теперь про делишки, глядя вокруг... Вот завод механический. Стучат молоты, кружатся колесики, валы: так-так, так-так. Смотрят трубы слепой пастью. И плюют, и плюют в небо то копотью, то дымом. Все самостоятельно... Что хочу, то и делаю. А души нет...

— Работы тут нет ли?—обращается Яков.

Но видит: не его ума дело.

— Откуда бог принес?

Хоть бы сказали, где переулок Дорожный. Но — кажется ему—люди эти все злые, жизнь их довела до отчаяния. Спешат, все спешат... сердитые, с землистыми лицами.

Повернул в сторону. Опять, смотрит, народ у ворот — табачная фабрика. Опять подходит.

— Как в контору пройти?

— Закрыта контора. Нельзя.

— Мне работы надо.

— А что делать умеешь?

— Что делать? Посадчик я.

Смеются.

— Кожу в кожевне делают, здесь работают табак. Яков кивает головой, но сам топчется на месте.

— Может, что и найдется?

— Нет ничего. Забастовка. Рук много, а дела мало...

Думает Яков: „ну, куда я пойду, что со мной будет? Быть может, через два-три дня будешь корчиться в этом городе под забором".

— Время не скажете сколько?

— Время, малый, к пяти.

К Максимычу скорей бы. Час не ранний. Который раз спрашивает переулок этот, дом третий. Который раз отвечают:

— До рельсов, земляк.

Или:

— У пустыря свернешь.

Не на улице же ночевать. В полицию возьмут. Просить, чтобы переночевать пустили—тоже нельзя. Кто тебе поверит, что ты Яков из Поцеек.

Ага, вот и рельсы. Вот и пустырь. Так и есть. Домовина же! Как яма: сверху донизу людьми набит, в углу — трактир.

Идешь по лестнице, кругом трубы, корпуса... Лязг металлический...

Максимыч пять лет в городе, от Поцеек отстал.

Был моложе — в союз ходил. Теперь же не туда метит. Потаскали ни за что, ни про что,—не стало работы, а не стало работы, к мастеру пошел.

Ну, на работу стал, а душа отравлена.

— Что, чаю с мастером напился?—косятся товарищи.

Однако, хорошо, знаете, повидать поцейковца,—ну, вот Якова,—черного Якова, с запахом Поцеек. Максимыч донимает его расспросами.

Комната узкая с койками вдоль стен, на койках—жильцы. За перегородкой будильник чей-то. Максимыч поит чаем, а Яков рассказывает медленно, не торопясь.

Поцейками, родными Поцейками пахнет от Якова, и, зевая, уже рот прикрывает ладонью гость, а Максимыч спрашивает, спрашивает... Все-то родное! Дошел Яков до забастовки— Максимыч уже не тот.

— Он самый, Ванька, на него похоже... В груди себя бьет... как же...

— Зря,—говорит,—зря. Сам в союз ходил... А что из того вышло?

Сплевывает Максимыч желтоватую слюну.

— Я так скажу. Думай о своем. Работаешь у Зуды— вот об этом и думай.

— То-то,—бормочет Яков, но думает о завтрашнем дне.

Максимыч же сам себя уже урезонивает:

— Товарищи! А за ворота попал--ломаного гроша не дали.

Не тот Максимыч, но Якову у него хорошо.

Третью ночь лежит это с ним в углу за занавеской. Все думает про завтрашний день: дай работы, каменный зверь, дай на день хоть!

А на койках ему о том же:

— Ищут как,—советует Гриша-маляр,—стой, скули, не отходи.

— Бреши, что на все руки мастер, — поддает булочник.

— А то... дюжина детей. До бога лезь...

Каждый пошел—кто куда. И Яков вышел рядом с Максимычем.

— Вон, не работает чугунный, а рабочих берут.

Правду говорит Максимыч. Подошел Яков к воротам. Нужна одна сила; как скот, по фигуре берут. Не берут лишь из-за грыжи,—доктора бракуют. Мастера так встречают... Но идет человек, озираясь. Там, подальше, забастовщиков цепь.

— Понаехали, блюдолизы,—грозят те.

— Дела, небось, не знаете, а любы.

— Штрейкхбрехеры!

Изобьют, пожалуй. Но Якова за что бить!

— Из-за чего беспорядки?

— Какие беспорядки!

— А зачем собрались?

— Житья не стало...

— Которое уж утро! Кожевенной работы нет. Все посадческие обошел. На фабриках забастовки.

— Из губернии давно ль?

— Вот-вот...

— И прямо в дыру?.. Уходи, пока цел.

К счастью, эти люди сказали Якову про биржу рабочую, и он повернул на биржу. Только на день бы работы, только на день, чтобы поесть. За какую угодно цену, хоть за корку хлеба—лишь бы не свалиться. Эх, жизнь, какая ты! Корка хлеба для Якова есть счастье... А, может быть, и ушел из Поцеек он не от голода одного.

Но вот биржа. Тут, стало быть, берут рабочих.

Стал в толпе людей, оборванных, злых. Все ждут. Все полны одной заботы—достать хлеба. Поесть—вот их теперь счастье. Такое, кажется, малое, но так оно есть. Пришли подрядчики, довольные, что их тут много, и ведут, кого куда нужно.

Слава богу, и Якова ведут. Идет, но ломает голову: что за работа? Что будет работать, еще не знает... Но доволен. В воздухе сыро. Сквозь туман видна насыпь лишь. Соединительная ветка строится.

Подошли к каким-то баракам. Везде кучи материалу, песку.

— Ты, тачку возьми,—крикнул десятник. — В кладовой.

Хрипит—колесо немазанное. Но цепочка на жилете.

— Да лопату не забудь, лопату, фендрик!

Что-ж, тачки с землей возить—так тачки. Часто—у самой насыпи—летит кувырком Яков с тачкой от неумения везти. Рабочие смеются, десятник же бранится.

Но таких еще несколько, и Якову легче на душе: не один такой. Хорошо поработать месяца два так. Прошел день работы—рубль получил. Поесть можно.

Зашел Яков в чайную, пятнадцать копеек заплатил и — сыт. Опять его сила при нем. И завтра, что угодно, будет работать. Долго ли только эта работа продолжится... Может, месяца два-три, может, два-три дня.

Теперь у Максима ночевать довольно. Говорили, ночлежки тут есть.

Жутко это. Но все-таки подходит к воротам Яков. Старый дом. Закоптела вывеска от близости труб. Стоят оборванцы вдоль кирпичной стены.

Сколько людей! Босые, грязные.

— Скоро ли вшивку-то откроют?—стучит кто-то от холода зубами.

— Фу-ты, ну-ты,—отвечают.

Быть может, не пустят? Тут дерутся за ночлег. Но куда ему, кроме ночлежного? Ночь сырая. Нет, не из слабых Яков. Как только вывернуться, чтобы одежда цела осталась. Ведь пропадет, ежели одежды лишится. Теперь после работы спать будет крепко—одежду и снимут...

Но вот открылись ворота.

— Открыли...

— Впускают...

— Го-го-го!

Задние хлынули вперед. Вереница смешалась...

Вышел надзиратель и стал впускать... Иных называл по имени. Видно, были они все ему уже известны. Иных по матери ругал, из прохода выталкивал. Но им хоть что! Трын-трава.

Но вот и Якова золотая рота придвинула к дверям. Глотает дверь, как пасть разинутая, — сильные теснят слабых. Кто-то щелкает по затылку Якова:

— Эге, новенький!

Яков не знал бы, куда ему войти, но ему обидчик же указал помещение. Расставлены нары односпальные, двухспальные. На нарах уже храпят...

Присел Яков на одной. Вонь махорки, онучей, запах водки. Голова кружится от непривычки. В проходах, вдоль стен — лохмотья, а не люди... Присел он на нару, положил куртку и уже прилечь хотел, но вдруг два дюжих парня подходят к наре.

Давай трунить над ним.

— Народ нынче стал! Духовных лиц не почитает...

— Из-за того и бунты,—хохочут дружки.

Один,—с испитым лицом, весь обросший волосами—стал тащить Якова с нары. Ему, новичку-мол под „духовным“ место.

— Вишь, развалился. Как у себя в деревне!

— Они не привыкли кой-где спать...

Не стерпел Яков, встал, и дошло бы дело до драки. Но тут встал между ними надзиратель и развел.

Проходит минута,—уже обирают мужичка какого-то. Ему все меняют на лохмотья и дают в придачу гроши. Все тут обменом живут. Нищий нищего обирает.

Мужик,—стало быть, с жиру в город захотел. Вот уедет в деревню, и там у него хлеб, там у него—печь. Мужик—косопузовец.

— Вишь ты, и он за косопузовца...

— Видно, картошка деревенская осталась...

Яков пробовал уснуть. Но бредили во сне, вскрикивали, ругались. Ночь была долгая.

IV.

Положение у Якова — первый сорт: три рубля капитала. Смог на это сбережение свое из вшивки выйти.

Работы, оказывается, не мало, но поденной. На фабриках какое ни на есть уменье нужно. На них держатся крепко. Если не бастуют, то достать работу в таком месте не легко. Вот, где работы черные, там достанешь. Но ни один день не уверен, что завтра будешь работать. Пристроился, кажется,—ан подрядчик уже заявляет:

— Счастливо оставаться.

Работает Яков уже на улице. Выливают улицу цементом. Стоит этакая махина; месит матерьял—цемент, песок, дробные камушки. Одни возят тачками песок, другие—камни, и нужен человек, чтобы подносить мешки с цементом. Это вот—Яков.

Остальные готовую кашу возят, выливают, разглаживают.

Яков старается: цемент подносит. Машина требует мешок цементу в минуту. Это выходит шестьдесят мешков в час, шестьсот мешков в день. Каждый мешок весом пуд. Стало быть, шестьсот пудов в день. Ежели это разложить на возы, — по двадцать пять пудов воз,—двадцать четыре воза выйдет!

К вечеру Яков не помнит, живой ли он: работа идет без него.

Вот в шляпе мужчина. Пиджак целый. Борода выбрита до чиста. Только губы точно выворочены. Пришел и стал на работу. Тяжело,—говорит,—да назвался груздем, полезай в кузов. Приехал,—говорит,—с женой, с двумя детьми из другого города. И вот голод не тетка.

— Трудно,—говорит,—а проработаю недельку.

Проработал день. А на другой жена принесла обед. А после обеда смотрит это и спрашивает:

— Так это цельный день работать?

Все смеются.

— Не только день цельный, даже цельный год.

— И всю жизнь, если человек стоит здесь.

Только десятник хмурится:

— Помалкивай, шляпа! На хозяина работаешь.

Опять не везет. Нет работы.

Прямо синеет Яков, как подумает, к чему и работает. Точно в колесе побывал... Только вот в суставах полегче. Но за счастье, за хорошую жизнь должен считать, когда есть—будь ты проклят!—и такой хлеб.

Угол нанял Яков. Полтора рубля заплатил. Темно, но хорошо, что из вшивки. Теперь хоть не такой народ с Яковом. Потом не так пугает ночлежный, как в начале. Но здесь все-таки человеком быть стараешься...

Э, нужно забыть страх, который Якова мутит. Нет уже сил больше выносить его. Махнуть разве в чайную? Нет,

там не утерпишь. Спустишь толику этих грошей, а ведь он должен претерпеть. Пойти к Максимычу чайку попить.

Пришел, а Максимыч пьян, читает „Копейку“. У Гриши— газетка рабочая.

— Все по святым местам?—встречает его маляр и продолжает:—штраф... штраф... штраф...

— Так им и надо... газетишкам всяким.—У Максимыча злой взгляд.

— Ты полегче... Все равно ведь тебе, что так, что этак.

Яков слушает, прихлебывает чай. Затем любопытствует:

— Что они... во вред печатают?

— Деготь! Поумнее нас с тобой там люди сидят...

— Франта этакого послушаешь...—сплевывает Максимыч под ноги маляру.

— Шел бы, Пуришкевич, пиво допивать... Ерофеич по тебе скучает.

— Номером, маляр, ошибся, номером...

Берет шапку, надевает пиджак теплый.

Мы подходим к кабаку,
Мы подходим к кабаку,
Ерофеич на боку
Спит.

— Айда, Яков! Наше вам с кисточкой.

Не нравится Якову город. Воздух тяжелый. Ходят, как на пожар. Народ, что и говорить, чистый. Каждый старается приодеться... Но торопятся...

Ну, праздник: день отдыха и Якову. Где-то шарманка захлипала...

Экипажи, рысаки... барыни заводские... вот этим весело, эти сыты! Как праздновал, бывало, Яков в Поцейках! Так и ждешь, бывало, просто считаешь каждый час уходящего времени. Но тут этого нет. Гниешь—ей богу, гниешь и — все.

Направился в парк. Осень унылая, грустная лежит на предметах. Березы голые, в гнездах нет птиц. Трава вся посохла. Только в вершинах где-то гудит... Нельзя сказать, чтобы красиво. Какая-то на всем грусть. Как паутинка в воздухе носится...

Эх, сердце запрыгало у Якова. Старуха вспомнилась.

Эх, мать, лежишь в земле осенью. На могилке листья шуршат. Пахнет костяной трухой...

Что, как опять не будет работы? Катерина помощи просит. С утра до ночи в чайной. Но кулак дядя Николай и—шабаш.

Вот—работа.

Аршин толщиною земли надо снять на протяжении улицы. Потом улицу будут мостить.

Яков прибыл на работу, когда работало уже человек двадцать. Сперва это землю взорвут, затем лопатами на возы и отвозят во рвы. Взялся за лопату и Яков.

— Иди вот с ними,—командуют ему.

Идет. Слева—маленький, тщедушный, глаза мутные. Задыхается. Губы у него скривились, по лицу течет грязь: это пот смешался с пылью. Поди, у него тоже дома жена, а то больное дитя,—думает Яков; но нет времени спросить. А с правой стороны—цыган. У цыгана здорово болит спина, и он пробует „скрутить цыгарку“. Но десятниково око видит...

— Время, цыган, не воруй.

Хочешь работать не по совести, не выбиваясь из сил,—расчет. Как расчет? Ведь же больше недели ловил Яков эту работу...

И Яков работает на совесть. Где мягко,—лопатою. Потверже—лупи киркою. Таких, как Яков, как собак нерезанных. И так оно идет и идет. За эти дни, что Яков работает, переменилось не менее шести человек. По человеку через день.

Яков привык к тяжелым работам. Может, чорт знает, что делать—камень бить, гнуть железо—что хотите, но тачка

нагружает пудов двадцать. При такой нагрузке надо бы лошадь впрячь...

А проработал этакий день, у трамвая рылом не вышел. Для чистой публики—вагон.

— Назад в прицепной,—велит кондуктор.

А в прицепном негде яблоку упасть.

— Что я,—не такие деньги плачу?

— Не такие. Вагон для чистой публики.

И так изо дня в день.

— Жди следующего...

До городового дело дошло уж.

— Не сойду с площадки,—скандалит Яков.

— Тебе сказано! От начальства распоряжение.

Но не сдается Яков.

— Нет законов таких.

— И то на брюхо, на брюхо твое гляжу. Все, видно, законы в нем...

И тихим манером по ступенькам. Но у Якова искры сыпятся.

— Ежели в тебе закон, соблюдай себя, сукин сын!

Ладно, где наше не пропадало. Длинной вереницей, как журавли, тянутся землекопы. Но и панель не для них.

— Долой с тротуара!—грозят уже Якову.

— На мостовую!

Все могут итти панелью. Мазурик, проститутка в модной одежде. Но Якова, черного Якова, долой. Перепачкает чистую публику.

V.

Гулять бы Якову погуливать, да Максимычу спасибо. На товарную станцию определил—вакансия оказалась. Опять же работа не легкая: нагрузка и перегрузка товаров. И работать то день, то ночь. Но заработок вдвое против прежнего.

На станции запутанность какая-то. Путаются фамилии на накладных, а то самые накладные. Выписал кто-то галанте-

рею—сардины получил. В товаре 10 пудов,—обалдел, что ли, весовщик. Но кому дело до весовщика?

— Давай и давай,—правит старший.

Заставляет таскать тяжести весом до шести пудов, а лестница сорок две ступени. Не можешь, зубровочкой угости, а то кинется, как птица, на добычу.

Не успел Яков взяться за груз, как уже подошел Егор. Ничего не поделаешь. В Поцейках давал, и здесь надо дать. Однако, опивальщикам показалось мало. А денег у Якова нет. Яков к Максимычу в вагонные мастерские, но Максимыч не дал.

— У меня денег нет,—теряется Яков.

— Ну, будут. До первых чаевых.

Старший к Егору благоволит:

— Никого и ничего не бойся,—говорит он ему.

Егор же перед ним двери открывает, а то горло промочит Матвею Иванычу. У бедняги горло пересохнет: весь день „давай и давай". Рабочих у него десятки, а он один: сколько энергии идет. Промочит же Матвей Иваныч горло с вечера,—глядь, с утра и со свежими силами.

— Якова поставил я,—говорит он Максимычу за кружкой пива.

Максимыча тоже уже начальство любит.

— Твоими устами мед пить, Матвей Иваныч.

— Благонадежен? Нынче отца родного дороже это.

— Ну, Яков... довольно шапку ломал.

Второй месяц на станции. Что-ж, на одном месте и камень обростает мохом. Получай, Катерина, красненькую. Вот от Вани письмо. Отчаянное. В город едет.

Он пишет: „ищи, Яков, работы мне. Избу продал. Причина? Много, брат, проехал, много горя повидал. Продал куртку, другие вещи. Житье! Проклятое, гадкое житье! Вот причина. Хотел бы руки наложить". Перевернул Яков листок, а наобороте стихи Ванины:

Я без работы живу, я силен.
Я для работы, для жизни рожден.
Только сдержите, друзья мои, эти
Голода жадного страшные сети.
Все остальное добуду я сам.
Братья, как буду обязан я вам!
Вас я прошу. От молчанья мне душно.
Что ж вы к страданьям моим равнодушны?
А, вы молчите! Вам дела нет, значит?
Пусть кто поет, кто горюет, кто плачет?
Если же так, так пусть будет одно:
Может быть, смерть моя тронет кого.

Эх, от души исходящая жалоба на долю Ванину! Подумать только, сколько таких... Какой это зверь—голод, что гонит на смерть... Какая дорога, по которой идет-вышагивает рабочий человек...

Пошел Яков к Максимычу. Так и так-мол—письмо показал.

— Этого нигде не любят,—режет тот.

Сам же строг, очень строг: в мастера метит.

— Потише ведешь себя,—смотришь лучше!

— Не пропадать же Ване... Поклонись Матвей Иванычу еще.

— А Ваню... упекут... скажешь, мне пропадать? Иш ты, фигура!..

Вернулся домой Яков. А напротив на койке токарь по металлу Родион:

— Что ты, Яков, не весел, будто голову повесил?..

Ласково так спрашивает Родион. Рассказал Яков про Ваню, про Максимыча.

— Эх, ты! Живешь, как щегленок в клетке. Знаешь только то, что перед тобой. Нет, что говорю! То, что перед тобой, видишь, а не знаешь.

Родион с книжечкой все. Вроде Вани. И сейчас... Тихо. Метель за окном метет, да пять душ храпят. Светит тускло лампочка. Родион же, не раздевшись, лежит на койке, читает.

— Уж очень, Родион, ты чтению цену ставишь...

— Для нашего брата проку нет?

— Какой прок! Читал я.

— А ты еще почитай.

— Может, милее мне в канаве поваляться...

Смеется Родион.

— Очень просто.

— Ну, что с того, что почитаю... Мне дело какое?..

Выслушал Родион это.

— Ежели человек знает, он много счастливее слепого.

— Да почему?

— Сам в этих книгах живешь. В книжках-то ведь свет...

Третий месяц на станции. Что было бы с Яковом, не случись эта работа?

Вот и теплую одежду справил, а то беда. Декабрь в этом году лютый. Днем у окна слышно, как белый снег поет под ногами. Изо рта же такой пар—будто куришь. На всех перекрестках костры. А то—метель, сыплет в лицо, за воротник. А итти на работу пустырем.

Сегодня Матвей Иваныч разошелся, шумит. В последнем вагоне шумит. В паровозной будочке шумит. Это начальства ждут, что покрупнее.

— Отпрошусь-ка я в рынок,—решает Яков. Полушубок купить хочет.

Просится у Матвея Иваныча. Полушубок купить? Только вот:

— Поезжай в Пеструю линию. Кум мой там торгует.

Молчит Яков.

— Кум с тебя лишнего не возьмет,—гнусит Егор.

Пришлось купить. Заплатил пятнадцать рублей куму. Потом рабочие смеялись:

— Красная цена полушубку—десятка.

Домой пришел, а с ними уже Ваня. Только вот из читальни. Родион его устроил.

— Верни мерзавцу полушубок,—негодует Родион.

И тут же на лекцию зовет Якова. Лекцию для ихнего брата.

— Дожидайся, пойду я с тобой.

Однако, надел полушубок. Отправились. Ваня тоже.

Слушает Яков рассказ, рассказ барышни о том, как работает, что получает рабочий люд в разных странах, слушает это - только хмурится: плохо понятно ему.

Мало от него Якову пользы. Только тревожит. Где-то там, действительно, реки молочные с кисельными берегами, а улови.

— Не фунт гвоздей, Яков! А?—смеется Ваня.

Яков на себя не похож, ходит молчаливый. А то ляпнет:

— Выпить разве? В голове прояснится.

И впрямь выпить. Но вдруг поднял голову. Такого содержания книгу прочел! В этой книге Яков нашел взволновавшее его чтение.

Нет, Васю он не пустит по своим стопам. Своих любимых он выучит, ежели жить им суждено. Когда-нибудь они поблагодарят его за это. Это будет им памятником. Что другое может оставить ребятам Яков? Может, и их ждет такая жизнь, как его. Тогда пускай хоть знают, что за причина их беды.

Яков с жаром читает книгу несколько раз. Эта книга делает в нем переворот. Яков глаза, опущенные вниз, устремил вокруг. Искать стал ключа всего.

Отдает Родиону книгу и даже в речи перемена.

— Нет, такую книгу мне дал... До сердца дошла. Что, для чего, к чему... Вся жизнь трудовая. Так жил его родитель, Паша, Ваня. Понимать начинаешь, кто ты такой есть?

— Голосок, небось, переменил?—подмигивает Родион.

Родион парень хитрый. Видит у Якова сердце—в нем лишь бы заронить семена. И часто, лежа рядом, напевает

ему боевые свои песни. Яков распрашивает его об их содержании. Родион же ему стихом поэта Некрасова:

— Выростешь, Саша, узнаешь...

Давно ли, однако, сойдясь в углу, Родион диктовал, а Яков записывал некоторые.

И вот с того дня черный Яков не пропускает минуты, чтобы и самому не затянуть их. Где бы ни приходилось слышать их, в обществе Родиона или где, песни эти хватают за душу, и думы Якова переносятся в какое-то место отдаленное.

Про Поцейки, про угол, про деготь, про груз... потом только вспомнишь.

Пятый месяц на станции. Тридцать рублей сбережения. Эх, заглянет солнце и к Якову в оконце. Не написать ли Катерине, чтобы приехала?

— Повремени,—советует Ваня.

Умный Ваня, но умней Родион. И—приятели, у них кружок. Теперь с ними, каши поевши, и Яков стал ценить Максимыча поступок. В читальне свел знакомство с печатником.

— Ответь, браток, на темные для меня места,—просит он.

Ваня не может: книги с полки достает.

Купил Яков и перо. чернила, тетрадку с портретом Гоголя. Деликатно обмакнул перо в чернила.

— Ну, Яков, держись,—острит Ваня,—сколько этих перьев есть на белом свете!

В Поцейках Яков все недоумевал, почему Ваня попов не не любит.

— Что же, ни церквей, ни попов не хочешь?—обижался, бывало, он.

— Снявши голову, по волосам не плачут.

Яков просто не мог слушать Ваню. Сказать к слову, мальчишкой христианином был Яков ярым. Любил веру пра-

вославную. Любил и книги христианские, хотя не было того воскресенья, чтобы перестоял да переслушал в церкви богослужение.

Молиться перестал после. Однако, и потом не любил Ванины слушать речи. Даже теперь, как Родион начинает спор о религии, Яков плохо верит его словам.

— Есть бог на свет,—говорит он.—Кто это скажет, что бога нет?

— И я так... точка в точку... Бывало, только из мастерской—скорей за акафисты. Один да другой: то Николаю чудотворцу, то божией матери. А сапоги каши просят... Так и родитель мой,—царство ему небесное,—бос был. Пои да корми нечисть разную, а тебе, рабу босому,—на том свете воздастся...

— Полно, Родион!

Однако, Родион при своем, Яков—при своем... Ну, по совести сказать, какое такое свое? Так, сон один.

VI.

Теперь видит Яков человека такого, „соколом“ величает. Что бы тот ни делал, лишь бы говорил про права.

Сойдутся вот в чайной Ваня да Родион, да другие. Говорят это—Яков диву дается, о чем. Ежели бы не семейство... справедливого хотят эти люди.

Однако, ох-хо-хо... Пусть будет вам известно, как камень обрастает мохом. Расчета Яков ждет. Сам не возьмет в толк, как это так...

Собрался Егор подарок поднести Матвею Иванычу. Ну, сочинил юбилей и принялись производить сбор. Что только не делал, чтоб „записать“ не одних любимчиков.

Как же! Теперь Егор—правая рука старшего. Подходит к Якову. Спрашивает Егор: хочет ли он „записать“. Яков отвечает:

— Хочу.

— Ну,—говорит,—так запиши.

Посмотрел подхалим в лист.

— Мало записал.

Якову,—понятное дело,—глазом бы не моргнуть. Давал же Яков, давал ему, дьяволу, и больше. Но тут—комар на ногу наступи.

— Поди прочь, мерзавец!

Теперь день у Якова свободный. А Матвей Иваныч говорит: давай.

— Очень нужно,—говорит.

Очень нужно! Но Яков имеет право... ему полагается...

— Всегда требуешь. За такие слова завтра тебя не будет.

Но Яков все-таки за „права".

— Какие-такие слова?

— Вон отсюда! Пошел вон! Прочь!

В субботу честь честью пошабашил на час раньше, но— пожалуйте в контору.

Эх, полгода проработал. И уходит же со станции, как бы отца и мать теряет Яков. Глаза выскакивают на лоб таскать этот груз, а заработает—дай бог всякому.

— Ну, попадись Егор теперь мне,—шепчет он.

Двор—пустынный. Кирпичные склады кругом. Попадись только Егор.

Егор же легок на помине. Вот он: его, Егоровы шаги.

Остановился Яков. Неясный гул идет с вокзала. Свистит за водокачкой паровоз... Да, Егор в свете фонаря. Но Егор кладет два пальца в рот.

— Что, в полицию захотел?

— Мотри... насекомая... заест.

И издает пронзительный свист.

Теперь, что правда, то правда. Пеняй, Яков, на себя. Сам себя по голове ударил.

Нет, раз человек подневольный,—делай, что прикажут. Виляй, извивайся змеем. Соображай, по чем фунт лиха...

— Страху мало,—кается уже Яков,—я так скажу.

— Страхом и кормимся,—смеется Ваня.

Верить Ване, так горя реченька уже перелилась через край. Ну, какому паршивцу задержать ее! Еще минута и... „полно", царство божие на земле. Вот и „полно", и царство божие на земле. Прошла неделя—ищи ветра в поле.

Родион так утешает:

— Это особенность рабочего класса.

Яков же из рабочего класса... Утешитель!

А у людей—пасха завтра. Светлое воскресенье.

Хоть бы Матвей Иваныч праздник повременил...

— Родион, в церковь пойдем?

— Без меня иди.

— Может, прокламация вышла: не итти?

Взамен того зовет на вечеринку. Спрашивает Яков его:

— Пропадать мне с тобой в конец, студент?

— Положись на меня.

Сходили. Ваня стихи своего сочинения читал... Родион пел... Так ли хорошо было—ах, ты боже мой! Но теперь, как бы не вышло чего... Такое у них в кружке.

— Эх, простота, простота,—ворчит Родион.—На какой ляд тебе страху столько?

Ладно... В Поцейках и „Копейка", попавшая в руки мещанина, нагоняла страх.

Теперь Родион гуляет: стачка у них.

Каждый день новости. Мастера вывезли на тачке...

Штрейкбрехеров набрали. Ну, мало, зато народец: море по колено.

— Братия невысокородная?—смеется Ваня.

— Начальству, Ваня, угодная! Интерес у меня с тобой не один разве?—спрашиваешь одного. Отвечает, прощалыга: давай по целкачу на рыло, интерес будет один... Однако, дружно стоим.

Уже девятый день. Ходят слухи об арестах.

— Утром навстречу мне инженер:—Ты что, Родион, на завод?—На завод да не тот.—То-то, говорит, по роже вижу, что зачинщик.

Яков же на работу напал—свою, посадческую. Опять с терпением нес бы свой крест. Но печаль другая: ноги застудил.

Здоровья Яков не плохого; имеет мускулы крепкие, что так в городе уважают. Только сырость—отрава для него. Прохватит Якова сквозняк—в ногах ломать начинает. А мастерская—один чорт, что в городе, что в Поцейках.

Кругом те же столы да на них доски с кожей. У столов—те же люди. Пот течет каплями с лица.

Пошел к доктору Яков. Ревматизм, говорит. Не работай в сырых местах. Поезжай в город Пятигорск на минеральные воды—тогда излечишься навсегда. Одного не сказал: на чьих лошадях поехать.

Быть беде: третий день и ноги, и руки ломает. От сырости это. Хочется, хочется присесть. Но недреманое око мастера не закрыто. Маленько замнись—вот и вина.

Пусть кричит. Кто боится его крика? Ведь вся жизнь черного—брань, крики, угрозы, расчеты. Без этого невозможно. Два человека—две злые думки.

День клонится к вечеру. Солнце опускается. Тень отошла от стены, повернула вправо. Уже закрыла и ведро, и бочку с водой. Яков следит за этим. Но кажется ему: месяц прошел уже с тех пор, как солнце он видел в том окне.

Когда же покажется оно в этом? Однако, дождался. Вот помоет стол и уйдет отсюда. Ноги-ноженьки!.. Уйдет, чтобы ноги отлежать...

Полежи-полежи. Завтра опять очутишься в сырости, опять сквозняком будет продувать. Долго ли свалиться Якову?

Яков уходит. Скрипнула дверь. Сзади—кожа, деготь, копоть, грязь, и все, что болит у него.

Проснулся, однако, Яков—почувствовал, что-то с ним случилось. Что случилось? Темно в голове. Только, раскрыв глаза, понял Яков: фельдшерица с градусником... больные на костылях...

Понял Яков: в больнице он. Вдруг по порядку вспомнил, что с ним случилось.

— Приходи на постройку, устрою я тебя,—сказал ему Гриша-маляр.

Яков всякие постройки, ремонты видал только издали. Но обрадовался.

— Поставь, ради Христа. Не посадчик более я.

Ночью полиция разбудила. Родиона арестовали... Однако, к семи часам Яков был уже на дворе, заваленном обрезками дерева. Далеко в небо поднимался флигель кирпичный. По линиям разветвлялись леса. Окна, двери, как отверстия, зияли по бокам. Но уже шуршал по лесам, уже сновал там и здесь муравейник.

Повел маляр Якова к подрядчику, около—паркет, оконные рамы, кирпич.

— Носи наверх,—сказал тот.

День за днем поднимается флигель,—Яков носит. Леса дырявые, смесь клейкая на них; в дождливый день ноги разъезжаются, того и гляди, в прореху шлепнешься. Но что Якову! Вон маляр в люльке, подвешенной у окон пятого этажа. Того гляди, веревка оборвется.

Думает это Яков. Вдруг видит бегущих людей.

— Убирайтесь, пока живы,—кричат сверху голоса.

Еще минутка, и грохот... Гул, стоны дикие... Облака пыли... Яков сам в куче щебня и мусора. Раскрыт рот, изо рта пена... Не борода—чернила какие-то... Его кладут на носилки...

Подмяло „малость"... Обрушилась это часть лесов.

— Ну, малость подмяло,—говорит доктор,—будет жив.

Вот везут его в больницу, везут целую версту, а позади—след крови.

Без костылей ужс ходит, но не узнать вам черного Якова.

Да и видно: прежние силы ушли. Тощий такой... Правду сказал доктор: лучше бы в город Пятигорск на минеральные воды, чем на постройку из мастерской. А то руки... вот эти некогда сильные руки. Теперь руки, как тряпки. Что ими работать?

Мог помереть. Бредил, бредил... То он дома—в своей избе. Перед ним чашка пустых щей. Нюшка малая простирает ручки, на колени карабкается... А то Паша...

— Чего убиваешься, дурочка?..

А то пожар у Зуды... Прохворал, выходит, без малого месяца три.

Правду сказать, лежать было в больнице так, что чего лучше. Лежал в покойной чистой койке. Шесть окон по стене. И где-то купола, кресты церквей. Вот облака плывут по небу... Лежишь это, и никакой заботы, кажется, никакого дела. Ни тебе деготь, ни тебе груз.

Ваня навещать приходил. Эти вот две недели только—не было что-то.

Вот стал выздоравливать, и либо от койки к окну да обратно, либо читает Яков. Сколько этих книжищ из читальни перетаскал ему Ваня. Читаешь-читаешь, ан в глазах зарябит, а хорошо. От такой вот жизни даже блажь пришла в голову Якову.

А что, смекает, кабы самому этакое сочинить. Вот как Ваня сочиняет. Задумано—сделано. Где можно и как можно, выпрашивает Яков бумагу, карандаш, чернила. А, доставши, берет к себе на койку, либо, улучив время, садится к окну, раскладывает бумагу на подоконнике и... сочиняет. С таким жаром, усердием. Фельдшерица скажет:

— Ставь градусник.

Фельдшерице двинуться с места лень. Яков же ворчит:

— Вы, барышня, сами должны градусник ставить.

— Ты что... рассуждать?..

VII.

Нынче вот только выписали.

Осень. Опавшие листья у ворот. Грязь жидкая да дождевая вода. Год слишком, как приехал из Поцеек.

Кушать, кушать... что кушать будешь, Яков? Из пустых рук... Холодно. Зубы стучат один об один.

Что-то теперь с Катериной? Что дети? Стала голова кружиться, как дошел до читальни. Верно, не совсем оправился Яков. Частое у него дыхание. Что-то Ваня? Не приключилось ли чего?

Так и есть: арестован Ваня. На его месте в читальне уже другой.

Что-ж, к Максимычу ночевать? Поди, рукой не достанешь.

— Сходи в трактир,—встречает маляр,—у нас господин мастер не живет уж.

А сам вздыхает:

— Эх, ежели что сломал, дорога в Поцейки...

— Не любит город хромых,—поддает булочник.

— Ему подавай здоровеньких...

Не жилец он в городе,– знает Яков. Но где укрыться от холода, от ночной тьмы?

А в трактире тепло. Граммофон играет. Вошел,— в самом деле Максимыч здесь. Но за тем же столиком Егор. Подошел Яков, но земляк будто чужой.

— Сделай милость, дозволь переночевать...

— Небось, был бы Ваня—ночевать бы не просился?

Молчит Яков.

— Бог подаст.

А дело к вечеру. Эх, во вшивку бы, куда угодно, лишь бы проспать. Но и в ночлежный нельзя—нечем заплатить. Выспаться бы где на лестнице, в подвале, на чердаке, но как войти во двор?..

Пробили часы на башне медленно, удар за ударом.

Ночь ползет—мигают фонари. Спят дворники, примостившись к воротам, а то прячут руки в рукава. Вон какой-то

оборванец у забора, заглядывает во дворы. Но уже городовой толкает его в плечо:

— Уходи отсюда, слышь...

В глазах Якова рябит. А оборванец уже около него.

— Погоди, брюнетик! Папиросочки нет-ли?

Но у Якова одна мысль в голове:

— Где переночевать?

Сена много. Зароешься.

Работает Яков на дворников.

— Иди в участок, адресных листков купи.

— Помои вынеси!

— Почему дров не рубишь, лохматый чорт!

Качать воду, дрова рубить, размести снег—это еще в силах Яков. Ну, перепадет когда полтинник, когда шесть гривен—разве на это прокормишься?

Положение—первый сорт. Или на побегушках на этих или—из чайной в чайную. Есть такие для бесприютного люда. Тут долго не дадут пробыть Якову. Ну, похрапывай да думай о том, где бы местечко найти на ночь. Это первое. Надо попасть в постройку, а постройка дается не даром.

И сейчас Яков храпит—прислушивается.

— Дядя Михайло, а дядя!..

— Ну, чего тебе!.. Спи, несчастник, пока не гонят... в канавку на отдых.

— Э, дядя... хочу тебе сказать: теплое местечко я нашел. Надо тебя взять туда.

Вслух мечтают о том, как будут храпеть в теплой норе на свалке...

Все потеряно дорогое в жизни. Как бы отнято кем. Счастье—выпить до бесчувствия. Ну, что дороже здесь бесчувствия, что дает водка?

Только гудок гудит на заводе, а чайная уже полна, Молодцы бегают с кипятком и посудой, подают то одному, то другому.

На дворе—мороз. Ветер поднимает столбы снега, и весь угол около Якова набит. Так это заведено здесь: им дозволяют быть в одном углу.

Лица черные, вспухшие. У того—шляпа, виды видавшая. У того рубахи нет, только поверх какие-нибудь тряпки. У того сапожишки, через которые видны ноги. Все один на один. Но иные, как Яков, жертвы случая. Иные по двадцать-тридцать лет поработали на фабрике, на заводе. Третьи—те воспитанники улицы темной.

Тут грязь, отчаяние, поколение низов, подвалов. Нет стыда, нет наивной простой деревни. Вот мальчик. Для него нет тайн.

— Давно шатаешься?—спрашивает Яков.

— Год-полтора.

— А раньше, до того?

— Из приюта бежал.

Другой видел улицу с рождения, знает пьянство, знает притоны. Уже у него любовница такая,—малолетняя: любовник живет на счет ее молодого тела. У третьего нож—в опорках.

Мутят мутную воду. И выходят из этой мути хулиганы, жулики, коты.

Вот Яков, черный Яков где. Стыд поцейковца встретить. Как вор, от людского ока прячется. Тяжелая работа есть. Есть тяжелая работа—недостижимое для него счастье. Яков теперь без рук.

Уже зима, а теплую одежду сменял. Лучше бы уж помер в больнице...

Таких, как Яков, здесь половина, может быть. Вот Дырка... кончил жизнь. Это—рабочий, на цементном заводе работал. Перестали брать—живи, как знаешь.

— Одежишка рваная. Куда в ней пойдешь?—вздохнет Дырка.

— Не пойдешь,—подтвердит Яков.

— Кроме, как сюда. Цепи наши...

— Трудно их порвать.

— Доступа нет. И запиваем.

— И запиваем. А работали, пока брали.

Эх, дядя Николай, сыплешь семена в Поцейках. И в горе смотришь на небо, нет ли где тучки, не сулит ли дождь. Нет... Прогневался, знать, бог на народ. Четвертая неделя на исходе, как не спало с неба ни капли. И это в самое страдное время.

Но вот чистое небо еще утром, а к вечеру тучки наезжают на солнце. Вот уже по небу несутся туда и сюда. И ты уже знаешь: дождь будет. Слава тебе, господи! Дождь пошел— другая жизнь, другие лица. Нет озимых, яровые будут.

И озимые, и яровые... к чему только вы Дырке, что, войдя в чайную, двумя взмахами руки перерезывает себе горло. Видал это Яков.

В одну из чайных пригорода,—а там их здорово есть,— входит Дырка. На нем—брюки „диагональ", ватный пиджак с чужого плеча... Печка топится, и угли то вспыхивают, то тускнеют. Смотрит Дырка в огонь.

А рядом несколько новых, рассчитанных, значит, с заводов. Сидят унылые, с тусклыми лицами... Дырке платить за чай нечем... Ну, бритвой по шее раз-два...

Вот какова жизнь горьких людишек, имя коим фабричное сословие.

Вылезает Яков из болота, вылезает.

Как, спросите вы? Очень просто. Сидели это, грелись, как и все. Вдруг в чайную входит пристав. Смотрит на весь занимаемый ими угол. Не люди на вид—комы тряпья.

Ну, его благородие и вызверилось.

— Вы,—говорит,—такие-сякие, что вы тут сидите, где прописаны?

Яков в это время то-сё—чай пил, обедал. Какой там обед! Но как раз в день тот полтинник заработал. Пожирает это рубцы проклятые—тут в ароматах разбираться нечего. А пристав, бестия, прежде всех к Якову.

— Ты, такой-сякой, где прописан? Что молчишь?

— Ваше благородие! Из Поцеек я... пришел обедать... дозвольте.

Яков знал, что всех возьмут в участок. И просил, чтоб хоть поесть позволил. Уже двое суток жил... только что не умирал с голоду. Однако, слушать не хочет пристав. Все по матери ругается.

Ну, пригнали их—весь „комплект"—в участок. Сидят, как водится, за решеткой. Злость так и разбирает. Деньги-то уплатил, а есть все едино хочется.

Наступает вечер. Вызывают одного-другого. Спрашивают, как фамилия, где прописан. Добрались и до Якова.

— Не прописан,—отвечает.—Где и быть прописану.

— Я тебе покажу, где!

В часть на высылку—рвань коричневую!

Теперь посидит-посидит Яков и—в Поцейки. На казенных лошадях в Поцейки—такое дело. Сперва по первое число пропишут, а потом... здравствуй, Катерина!

Поживешь это так и подумаешь: какие мученья задаешь ты, жизнь, человеку, какую проклятую устроила долю на земле! Поживешь и подумаешь: сколько роскоши великой, сколько холоду и поту! Вот один обременен мыслью, как бы вместить в своей жизни роскошь, а другой... пей, пей страдания, иди на все четыре стороны!

Эх, справедливы твои речи, Ванька, справедливы! Где только твои русые кудри сейчас? Два раза на прежней квартире спрашивал. Ничего Якову не сказали.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. А. Зорин. „Рабочий Мир“.—„Жизнь для всех“. 1912 г. Январь.
2. М. Медведев. „Дворец рабочих“. Ibid. 1912 г. Февраль.
3. С. Постников. „Разрушение рабочей культуры“. „Заветы“. 1912 г. Июнь.
4. А. Потресов. „К вопросу о пролстарской культуре“. „Наша Заря“. 1913 г., №№ 2, 3, 4, 6, 10, 11.
5. А. Потресов. „Еще к вопросу о пролетарской культуре“. „Наша Заря“ 1914 г., №№ 2, 3, 4.
6. Д. Кольцов. „Демократия в рабочих организациях“. „Наша Заря“ 1911 г. Январь.
7. В. Ежов. „На легальном положении“. „Дело Жизни“. 1911 г., № 9.
8. Эм-Эль. „Рабочие и народный университет“. „Борьба“ 1914 г., № 5.
9. В. Торский. „Наша молодежь“ (мысли рабочего). „Борьба“. 1914 г., № 6.
10. А. Мартынов. „Пролетариат и мещанство“. „Наша Заря“ 1914 г., №№ 7, 8, 9.
11. Я. Пилецкий. „Пролетариат и культура“. „Наша Заря“, №№ 1 и 4.
12. М. Лядов. „История российской социал-демократической рабочей партии“. Часть I и II, издание „Зерна“. 1906 г.
13. „История Совета Рабочих Депутатов“. Статьи Н. Троцкого, Г. Хрусталева-Носаря, В. Звездина, Б. Петрова-Родина и др. Изд. Н. Глаголева. 1906 г.
14. Л. Клейнборт. „Очерки рабочей демократии“. „Современный Мир“. 1913 г., №№ 4, 5, 8, 9.
15. Его же „Очерки рабочей демократии“. „Современный Мир“. 1914 г. № 12.
16. Его же „Во глубине России“. „Новая жизнь“. 1912 г., № 8.
17. К. Антонов. „Интеллигенция в русском рабочем движении“. „Наша заря“. 1912 г., № 5.
18. Рабочий. „Рабочие и интеллигенция“. С предисловием П. Б. Аксельрода.
19. Ф. Радванский. „Задачи пролетарской культуры“. „Горн“. 1919 г., № 2-3.
20. А. Богданов. „Наука и рабочий класс“. „Пролетарская Культура“. 1918 г., № 2.

21. А. Гастев. „О тенденциях пролетарской культуры“. „Пролетарская Культура“, № 9—10.
22. А. Богданов. Ответ на статью Гастева. Там-же.
23. А. Луначарский. „Из воспоминаний о почивших борцах за пролетарскую культуру“. „Пролетарская Культура“, № 13—14.
24. Бессалько и Калинин. „Проблемы пролетарской культуры“. Издание „Антей“. Петроград. 1920 г.
25. Ф. Калинин. Собрание статей в сборнике „Памяти Ф. И. Калинина“. Издание Всероссийского Совета Пролеткультов. Петроград. 1920 г.
26. „Протоколы первой Всероссийской Конференции культурно-просветительных организаций 10—15 Сентября 1918 г.“
27. „Протоколы первой Московской Общегородской Конференции пролетарских культ.-просвет. организаций 23--28 Февраля 1918 г.“
28 В. Плетнев. „Пролетарский быт“. „Горн“. 1923 г., № 9.
29. М. Растопчина. „Клуб в быте“. „Горн“. 1923 г., № 9.
30. Сизов. „Пролетариат и наука“. „Горн“ 1923 г., № 8.
31. „Альманах Пролеткульта“. Изд. Всероссийского Совета Пролеткультов (см. Залкинд, „О пролетарской этике“; В. Перецев „Ликвидация пролетарской культуры“ и т. д.).
32. Ф. А. Булкин (Семенов). „На заре проф. движения“. История петербургского союза металлистов 1906—14 гг. Изд. Всеросс. Союза металлистов 1924 г.
33. А. Богданов. „Пролетарская культура“. Изд. „Книга“ 1925 г.
34. „Культура и быт“. Сборник статей под редакцией коллегии научных работников при Центральном Комитете Пролеткульта. Москва. 1924 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.